

Библиотека журнала “Голос Эпохи”



Елена Семёнова

Обретение настоящего

Повести и рассказы 2005-2015 гг.

Елена Семёнова
Обретение настоящего

«ЛитРес: Самиздат»

2015

Семёнова Е. В.

Обретение настоящего / Е. В. Семёнова — «ЛитРес: Самиздат»,
2015

Героями вошедших в книгу рассказов стали самые разные люди: актёры и художники, врачи и учителя, сельские жители - люди, объединённые одним - живыми сердцами и “живыми глазами”, как говорит персонаж одной из повестей. В нашем холодеющем, суетном мире, во вселенском сиротстве обезбоженного человечества каждое такое сердце - на вес золота. И хотя живым, горящим сердцам часто всего труднее приходится выживать “с этой безмерностью в мире мер” (М. Цветаева), но, пожалуй, только им и открыто ещё истинное счастье. Ибо сердца угашенные уже не способны узнать его.

Содержание

Обретение настоящего	5
Глава 1. Детство	6
Глава 2. Любовь	13
Глава 3. Петербург	21
Глава 4. «На баррикадах»	30
Глава 5. Встреча	38
Глава 6. Химера	45
Глава 7. Метания	54
Эпилог	63
Дед	66
ПАЛАЧ И ЖЕРТВА	72
Последний патрон	79
Конец ознакомительного фрагмента.	80

Обретение настоящего

Если кто-то спросит, для чего я пишу свои записки, то у меня вряд ли найдётся вразумительный ответ. Ведь адресуются оные тебе, человеку, который их... никогда не прочтёт. Во всяком случае, мне так кажется. Хотя каких чудес не бывает на белом свете?

Впрочем, прежде всего, я всё-таки пишу для себя, как и большинство тех, кого те или иные обстоятельства жизни побудили взяться за перо не из материальных, конъюнктурных соображений, а для души. Моей душе надо выговориться, чтобы лучше понять себя и перевернуть, наконец, ту страницу моей жизни, на которой я чересчур замешкалась.

Глава 1. Детство

Древняя мудрость – не дай Бог жить в эпоху перемен, эпоху, когда с равной беспощадностью ломаются государства, быт, людские судьбы и души. Трудно сказать, кому в такую пору хуже – знавшим эпоху другую, имеющим основу в себе, или же поколению этих самых перемен, которому пришлось возрастать «на руинах нищей страны, под дождями из слёз» (Тальков). Первые счастливы тем, что знали годы лучшие, но и больнее им, потому что это именно их мир разрушается с такой жестокостью. Вторым легче, так как они, не знавшие иного, избавлены от подобной травмы. Но вместе с тем избавлены они и от той основы, которая необходима в жизни... Так, слепец от рождения в чём-то счастливее ослепшего вдруг, ибо он не знает, чего лишён, не знает, что лишён – солнца...

Детство и юность моя всецело пришлось на эпоху перемен, но, странное дело, никогда я не чувствовала себя её чадом. Оттого, может быть, что шла она сама по себе, практически не проникая в тот мир, в котором протекало моё взросление.

Мир этот был создан одним-единственным человеком. Моей бабушкой, которая воспитывала меня после ухода матери. Трудно представить себе человека более чуждого своему времени, нежели была бабушка. Я с лёгкостью представляла её в гостиных пушкинской поры, в тихих тургеневских усадьбах... Даже век серебряный был слишком поздним для неё. Бабушка в совершенстве владела тремя языками, что обеспечивало ей надёжный заработок, не требующий траты жизни в унылых учреждениях, не нарушающий её мира. Обладая замечательным голосом, она, будучи в хорошем настроении, любила петь романсы, аккомпанируя себе на фортепиано. Рисование и вышивание также относились к числу талантов моей бабушки.

Её крохотная двухкомнатная квартирка на третьем этаже старого дома походила на музей. Старинный секретер, над которым тикали часы с маятником, отбивая в срок положенное число раз, журнальный столик на гнутых ножках, массивный прошлого века дубовый шкаф, к которому нельзя было обратиться иначе, нежели по-чеховски: «Глубокоуважаемый шкаф!» – все эти предметы казались мне живыми, одушевлёнными. И, тем более, живыми казались взиравшие с многочисленных портретов люди – прежде всего, писатели и поэты. Они-то и были самыми любимыми собеседниками моих детских лет...

А ещё у нас был граммофон. Бабушка принципиально не признавала магнитофонов и других достижений техники, равно как и современной музыки, зато пластинок у неё собралась целая коллекция. Чего здесь только не было! Концерты классической музыки и опера, Юрьева и Церетели, Шаляпин и Лемешев, Отс и Анна Герман, голос которой завораживал меня, и на которую я так мечтала походить! А ещё были записи спектаклей и художественных чтений... Совсем недавно переслушала «Онегина» в исполнении Яхонтова. Что за удивительная гармония гениальной поэзии и её прочтения! Впервые услышав немалое число произведений русской литературы в исполнении актёров старого МХАТа, театра Вахтангова и других, я уже не могла и не смогу никогда воспринять их в прочтении новом, ибо оно окажется лишь слабой перепевкой великого. И поныне я слышу эти голоса, их неповторимые интонации. Что говорить о талантах, ведь даже и голосов таких – нет теперь. Те голоса не спутаешь никогда, они своеобразны и неповторимы так же, как таланты их обладателей. Они как будто имеют своё лицо... Нынешние уныло похожи друг на друга, ни единой ноты своей, ни единого лица. Потому что – и лиц нет. Вернее, лица есть, а физиономий у них не стало. Одно только *общее выражение*...

Голоса из граммофона также были дорогими мне собеседниками. К моменту достижения школьного возраста я уже знала львиную долю мирового оперного репертуара и симфонической музыки и немалое число литературных произведений. Бабушка никогда не делала серьёзной скидки на мои лета, считая, что всё *настоящее* доступно если не уму детскому, то

уж, во всяком случае, душе. И посеянное в душе, даже если умом не будет понято в момент посева, не пропадёт, а даст в своё время плоды.

Никогда бабушка не говорила со мной, как с маленькой, но обращалась – как ко взрослому человеку. Помнится, одна из немногочисленных её приятельниц как-то попеняла ей, что она чересчур много требует от ребёнка. Бабушкин ответ прозвучал сакраментально:

– Серафима – не ребёнок, а *моя внучка*.

Этим было сказано всё. Её внучка должна была принять в себя весь запас бережно сохранённого ею внутреннего богатства, чтобы оно не кануло бесследно. Для этого бабушка прилагала максимальные усилия. Каждые выходные мы отправлялись с ней в какое-нибудь путешествие. Я не люблю слово «экскурсия», т.к. оно ассоциируется у меня с праздным любопытством, с туристами, торопливо снующими по «объектам», подобно покупателям на базаре... Наши путешествия были иного рода. Бабушка не признавала экскурсоводов, ибо много лучше их знала историю всех тех мест, которые открывала мне.

Не было музея (за исключением современных) в Москве и Подмосковье, где бы мы с бабушкой не побывали. Поэт Дербенёв очень точно назвал Москву «птицей, раненой в сердце». Сегодня, видя, как превращают и без того изуродованное лицо её в мёртвую маску, глумливо разукрашенную, непременно приходят на память его строки:

Бежит толпа, чадят автомобили,
Меняешь ты иконы на рубли.
Какой тебя отравой опоили?
В притон каким обманом завели?

Иногда мы с бабушкой просто гуляли по старым московским улочкам, бульварам, набережной... Юнейшее поколение будет знать лишь по нашим воспоминаниям, что когда-то здесь высились стройные тополя и липы, под ласково шепчущей сенью которых мирно прогуливались старики и мамы с детьми. В знойный майский день – что за счастье было неспешно бродить под сводами благоухающей зелени! Из рассказов старших юнейшее поколение с удивлением узнает, что грохот автомобилей не заглушал всё живое, а их чад не покрывал окна домов, кои сделалось нельзя открывать. Что над Москва-рекой не нависала всё давящая кошмарная громада «Сити». Что не вздымались повсюду норвящие что-то навязать билборды, а над входами в магазины значилось просто и скромно: Рыбный, Молочный, Булочная... О, юнейшему поколению будет трудно поверить, что прежде для каждого рода товаров был отдельный магазин, а не громада «гипер-супер-маркетов», где можно купить всё – от колбасы до компьютера.

Булошная (именно так, по-московски смягчая «ч») – какое славное, тёплое, как сам хлеб, слово. Возле нашего дома их было три. Одна – старинная, которую я любила особенно за высокую лестницу и нарядные витражи на окнах. Эти витражи я могла рассматривать часами, по очереди заглядывая в разноцветные стёклышки, что-то фантазируя, сочиняя.

А перед Булошной был Книжный, никогда не обойденный нашим с бабушкой вниманием. А чуть подальше – Мясной. Мяса, правда, в те поры там уже не водилось. Но синюшных цыплят достать было можно. О наличии там таковых бабушке неизменно сообщала соседка, добрую часть дня посвящавшая «хождениям по добычу». Бабушка только морщилась. Она органически не могла выносить подобной суеты, поэтому «дефицит» в нашем рационе появлялся крайне редко, но не помню, чтобы меня это сколь-либо огорчало.

За провизией бабушка обыкновенно ходила на Дорогомиловский рынок. Кто бы мог подумать, в ту пору мы ещё беззаботно пробовали на зуб покупаемые продукты. Например, моим неизменным правилом было – попробовать кусочек сыра с ножа продавца. Да... Тот прежний рынок тоже кажется теперь чем-то из области сновидений. Юнейшее поколение будет удивлено, узнав, что на нём практически не было представителей «братских» республик.

Что ж, мне столь же нелегко было представить это место времён детских лет моей бабушки, когда Москва-река ещё не обросла каменными берегами, а окрестные улицы с дере-

вянными домиками и собиравшимися вокруг них по вечерам для неспешных бесед жителями больше походили на большую деревню.

Во время наших прогулок по Москве бабушка нередко останавливалась у какого-нибудь дома и рассказывала о нём... О том, кто жил в нём, кто останавливался, какие события с ним связаны. Сегодня я часто ловлю себя на мысли, что совсем не знаю Москву нынешнюю, но ту, стародавнюю, которую и бабушка не успела застать, знаю так, что, кажется, с завязанными глазами могла бы отыскать нужный дом, показать, где проживает такой-то... Эти старые дома никогда не заменят музеи, потому что *музеи хранят экспонаты, а дома – атмосферу*, эхо голосов, тепло дыханий...

Эту особенность я позднее лучше поняла, бывая в различных церквях. Возьмём, к примеру, две церкви: одна полуразрушенная, другая заново отстроенная. Вроде бы всё то же: служба, люди, а чувство совершенно разное. В новоделе – пусто, в старых стенах – душа полна. В чём же дело? А именно в них, в *стенах*. Бог поругаем не бывает, а «храм порушенный всё храм», осквернённая святыня остаётся святыней. Древние стены хранят в себе столь мощный заряд многовековой намоленности, что ни большевистские разорители, ни позднейшие перевёртыши, обратившие дом Божий в место торговли, не могут пересилить его. Новоделы этим зарядом (иммунитетом) не обладают, посему в них, большей частью, царит дух мира сего.

К слову, в новоделы бабушка не заходила никогда, а в церкви старые – только во вне-служебное время. Меня удивляло это, так как дома у бабушки было много икон, всегда теплилась лампада. Она не пропускала молитвенных правил, соблюдала посты, читала мне вслух Евангелие, Жития Святых и другие книги. Но в храм не ходила... Много позже, за год до её смерти, в нашем доме появился священник. По-русски он говорил с чуть заметным акцентом. Оказалось, что отец Виктор – потомок белоэмигрантов и приехал в Россию лишь недавно с благословения зарубежного митрополита. С бабушкой мы успели один раз побывать на его службе в маленьком домовом храме недалеко от Москвы. К нему она наказала мне обращаться в случае нужды, и именно он отпевал её несколько месяцев спустя.

Кроме всего вышеперечисленного, существеннейшей частью моего воспитания были книги. Книг же у бабушки было великое множество, и хранились они в том самом дубовом шкафу, к которому в связи с этим я относилась с ещё большим почтением. Ещё не умея читать, я могла часами просиживать на диване, листая альбомы с картинами. Такие альбомы, к слову, в то время издавались у нас исключительно на иностранных языках, видимо, полагая, что советскому человеку подобное не пролетарское искусство без надобности. Листая картину за картиной, я рисовала в своём богатом воображении целые истории, мало общего имевшие с их реальными сюжетами.

Читать я научилась рано, и тут бабушка также осталась верна себя: для меня не было книг, до которых я «не доросла», которые мне было «рано читать». Когда добрейшая бабушкина приятельница увидела у меня в руках «Фауста», то не преминула высказать бабушке недоумение, на что получила столь же однозначный ответ:

– *Моей внучке* ничего не рано читать. К тому же гениальное открыто всякому возрасту, а посредственность не нужна никому.

Она никогда ничего не запрещала мне, считая, что запрет унизителен для личности, но неизменно спокойно объясняла мне, почему что-либо не нужно делать, и какие из этого могут быть последствия.

Я поныне не знаю человека, обладавшего большим тактом и вкусом, нежели бабушка. Главным в моём воспитании были не объяснения, заменявшие запреты и требования, а сам пример её. Я боготворила мою бабушку и желала быть похожей на неё. Я не помню, чтобы она жаловалась, чтобы оскорбила кого-либо. Её речь отличалась утраченной правильностью, старомосковской округлостью и плавностью произношения. Она никогда никуда не спешила, будучи всегда собранной и делая всё точно в своё время. Любя порядок во всём, бабушка и

к собственному облику своему относилась с надлежащим вниманием. Хотя гости бывали у нас крайне редко, она всегда была одета и причёсана так, словно кто-то должен был явиться с визитом. И глядя на неё, молоджавую, благородную, каждый раз приходило мне на память цветаевское: «Юная бабушка, кто целовал Ваши прекрасные руки?»

Таким образом, потрясения трогали нас лишь по касательной. Видом разрухи и толп нищих, задержками бабушкиной пенсии, заставлявшими её браться за частные уроки, чтобы вернее обеспечить нас. Никаких накоплений она не делала принципиально, т.ч. и терять нам было практически нечего. Потрясения оставались вовне, не пускаемые через наш порог, в наш мир, хрупкий и стойкий одновременно.

Вы можете предположить, что все мои юные годы были этаким сном наяву, грёзой, навеянной бабушкиным волшебством. И будете неправы. Как и любой ребёнок, я не могла довольствоваться нашим прекрасным мирком и столь же прекрасными мечтами. Кроме Москвы и бабушкиного дома было у меня ещё одно место, столь же дорогое и любимое. Место это – Плёс.

Здесь жила семья моей двоюродной тётки, гостить у которой я отправлялась на всё лето. Тётя Саша зарабатывала на жизнь редким в наши дни искусством (никогда не повернётся язык называть это чудо ремеслом) – вышивкой. Вышивала она с равным талантом и шёлком, и бисером. Рубахи, сарафаны и рушники под старину, скатерти и салфетки, наволочки и настенные панно – чего только не было среди её работ! Их с особой охотой закупали продавцы сувениров, торговавшие в волжских городках произведениями народных промыслов, пользующимися немалым спросом у иностранцев. Встречались работы тёти Саши и в краеведческих музеях.

Само собой, свой дом она также старательно украшала своими рукодельями. Например, в нашей с сестрой комнате висело большое бисерное панно, изображавшее сцену из сказки Ершова, когда Иванушка ловит Жар-Птицу. Золотистые бисерины так ярко горели на тёмном матовом фоне, что казались настоящими искрами, и сама птица виделась живой, готовой вот-вот улететь в наше распахнутое окно и скрыться над Волгой.

Дом тёти Саши стоял на всхолмье. От нашей калитки к реке сбегала крутая дорожка, с обеих сторон утопающая в зелени кустарников, рослых рябин и хрупких берёз. Окна нашей комнаты на втором этаже выходили на Волгу, и, сидя на широком подоконнике, я подолгу смотрела на открывающийся взору вид. Только городской человек способен так остро чувствовать красоту *простора*. Словно затравленные звери окружённые громадами высоток, загнанные в лабиринты каменных, душных улиц, мы изумлённо вбираем в себя вдруг открывающуюся необъятность, осознавая, какое это счастье – *видеть горизонт...*

На противоположном берегу шумел лес. На нашем – прямо к окнам карабкались по обрывистой круче худощавые берёзки. Одна из них в непогоду звонко стучала ветвями в стекло, словно ища тепла и уюта. А посередине катила свои волны вечная, царственная Волга. По ней шли, сменяя друг друга, пароходы и баржи, наблюдение за которыми доставляло мне всегда особое удовольствие. Я пыталась угадать, куда идут эти суда, придумывала людей плывущих на их борту – целые новеллы сочинялись в такие часы. Даже в Москве, гуляя по набережной, я непременно прикинула к парапету, завидев громаду баржи, и провожала её взглядом, думая, что она, может быть, скоро будет проходить и Плёс...

Если у бабушки гости бывали редко, то у тёти Саши и её мужа, дяди Алёши, они не переводились. Уходили одни, их место тотчас занимали другие: чаёвничали, разговаривали, а, если дело было к вечеру, то и до песен, бывало, доходило. Дядя Алёша брал гармонь, и начиналось веселье.

Странное дело, вроде не так много времени минуло с той поры, а ныне собираются ли ещё так? Поют ли? Нет, я не имею ввиду пьяные завывания про «Мороз-мороз», а исконно русскую традицию пения. Юнейшее поколение, возможно, пожмёт плечами: есть же магнитолы, плееры, айфоны... Какое там ещё пение? А ведь, в сущности, что петь им? Чтобы проверить цен-

ность той или иной песни, просто попробуйте спеть её – без аккомпанемента, для души. Русская песня, русский романс, песни лет военных, романс городской – с аккомпанементом или без, они звучат распевно, цепляют за душу, переносят её в другое измерение. Песня эстрадная, даже неплохая, без накрученной технической аранжировки умирает, становится немой. Что уж говорить о «мотивах» новейших... Помирать так с музыкой, помирать так с песней – так говорилось на Руси. И, действительно, с песнями жили, с ними и умирали. И ни то, ни другое не стыдно было с такими песнями. А с нынешними? Песни прежние воспитывали дух, теперешние выхолащивают его, оглушают вместе с разумом.

Ничего не запоминала я с такой лёгкостью, как песни. Ничто так не проникало в душу, не волновало. Заслышав гармонию дяди Алёши и тёти Сашин голос, я бросала детские игры и, примостившись на ступенях ведущей наверх лестницы, слушала. Нередко, впрочем, дядя Алёша звал меня и предлагал подпевать. И я упоённо подпевала...

До сих пор я помню все песни, что мы пели с дядей Алёшей. До сих пор, слышав звук гармони (такой редкий теперь!), сердце радостно трепещет. Только, вот, люди теперь не поют. Может, оттого стали они таким озлётными? Некогда пел герой Олега Стриженова в известном фильме: «Жить на земле и не петь невозможно – это я точно тебе говорю!» Увы, забыли люди эту мудрую истину.

Правда, семью тёти Саши песни не скрепили. Пройдёт несколько лет, и дядя Алёша уйдёт к другой женщине. Это было, пожалуй, моим первым крупным разочарованием в людях. Мне, безотцовщине, дядя Алёша казался идеалом отца, и я страшно завидовала сестре Шурке. Дядя Алёша был на семь лет моложе тёти Саши, но, несмотря на это, в их отношениях всегда царила редкая гармония. Я не помню, чтобы дядя Алёша хоть раз поднял на неё голос, равно как и она на него. Дядя водил баржи по Волге, и это было ещё одной причиной моего особого отношения к этому виду судов. В отличие от многих друзей и соседей пил он очень умеренно, и я ни разу не видела его пьяным. Дядя Алёша любил детей, и те ответно тянулись к нему. Он придумывал для нас занимательные игры, помогал в наших затеях, пел с нами песни, водил в походы, а подчас заставлял нас с сестрой заниматься уроками, чтобы мы не позабыли всё за каникулы. Но даже уроки дядя умел обратить увлекательной игрой.

Шурка по праву гордилась отцом. И каким же ударом для неё стало его предательство! Мне кажется, она и теперь не простила его до конца, хотя после смерти тёти Саши всё-таки стала вновь общаться с ним, со сводными братьями, преодолевая обиду.

Помню, как в первый год жизни дяди Алёши с другой семьёй, я случайно встретила его на улице с новой женой – молоденькой, симпатичной женщиной. Он окликнул меня, и я остановилась, не зная, как быть. Я была очень привязана к дяде, и больше всего мне хотелось броситься к нему, как бывало прежде, рассказать о своих успехах за год, поделиться всем интересным. Но обида и солидарность с тётей Сашей и Шуркой оказалась сильнее. Я резко повернулась и убежала, глотая слёзы.

Так разрушилась первая сказка в моей жизни...

То лето было единственным в детские годы, что я не целиком провела в Плесе. Бабушка решила показать мне русский север. Юг отчего-то не представлялся ей важным, и я по сей день не знаю, что такое Чёрное море. Зато холодные воды Финского залива мне знакомы. И, признаться, я никогда не жалела об этом, и предпочла бы север югу и сегодня, так как такой высокой поэзии, каковой напитан русский север не найти более нигде. Впрочем, это мнение сугубо субъективное и лишённое серьёзной основательности.

Во время нашей поездки бабушка читала мне шмелёвские очерки о Валааме, чтобы я могла представить себе, что было в этих краях прежде, чтобы они наполнились для меня иными цветами и звуками, как и Москва...

Я всегда очень чутко ощущала те места, где мне приводилось бывать. Их, как теперь говорят, ауру. Как дома имели для меня свою душу, так имела её и земля. И деревья. Всё казалось мне живым, и ко всему относилась я соответственно.

В Плесе я любила уходить одна в маленький перелесок и разговаривала там с берёзами, лаская их белые стволы, прикикая к ним. А затем становилась на колени на низкий пенёк и молилась. Колени после подобного упражнения сильно болели и бывали синими, но своего обычая я не нарушала даже в непогоду. Здесь была моя тайная молельня, *убежище*.

Но я начала говорить о земле. Не помню, чтобы где-то ещё меня наполняло такое волнение, как на севере. Особенно, на Соловках. Бабушка сразу увела меня прочь от туристов, повела своим, только ей ведомым маршрутом. Встречаемые экскурсанты вызывали у неё раздражение небрежным отношением к этой русской голгофе, к святыне, к братской могиле тысяч людей...

– Смотри! – кивает бабушка на взгорье, что высится вдалеке от нас. – Это Секирная гора. Некогда в лагерь пригнали группу монахинь. Когда им приказали отправляться на назначенные им работы, они отказались, заявив, что не станут исполнять приказаний антихристовой власти. На все угрозы отвечали они, что случится с ними лишь то, что будет угодно Господу Богу, а не палачам. Тогда чекисты загнали их на эту гору. Там стоял такой ледяной ветер, что человек за считанные полчаса замерзал в ледышку. Весь путь монахини были радостны и пели псалмы. Продолжили петь и оставшись на горе. Несколько часов минуло, а пение не смолкло! Наконец, вечером, чекисты в недоумении поднялись на гору и увидели там живых и невредимых монахинь, продолжавших молиться. То же самое повторилось и на другой день. После этого исповедниц оставили в покое, убоившись той силы, которая хранила их.

Я слушаю заворожённо. Не то от пронизывающего ветра, не то от эмоционального напряжения меня пробирает озноб. Бабушка какое-то время смотрит вдали, затем роняет негромко:

– А ещё, Сима, где-то здесь похоронен твой прадед...

Теперь я поняла, отчего так болезненно воспринимала бабушка туристов с их праздным любопытством, фотоаппаратами, беззаботным смехом. Для неё все ужасы СЛОНа были не историей, а частичкой собственной многотрудной жизни, а память об убиенных не чем-то абстрактным, а личной скорбью по родному человеку, которого увели от неё однажды ночью, чтобы не возвратить никогда.

Так я узнаю очередную страницу нашей семейной истории. К тому времени я уже знала о том, что прадед был родом из дворян, офицер, что семье его принадлежал дом в Москве. Бабушка даже показывала мне этот дом, затеснённый новостройками, но уцелевший. Возле него я не раз бродила потом, представляя себе, как жили в нём мои предки, как увозили из него промозглой ноябрьской ночью прадеда, как выселяли прочь его жену с дочерьми, которых ждала ссылка, откуда вернутся они лишь после войны. Я представляла это себе так явственно, что становилось не по себе – словно бы это не бабушку, а меня саму выгоняют из родного дома...

– Мать успела один раз навестить его, – рассказывает бабушка, не глядя на меня. – Он уже болел... Чахотка. Она понимала, что ему не спастись, и он понимал. Нам не сообщили, когда и как он умер. Но мама почувствовала, увидела во сне, будто он с нею прощается. После этого весь день проплакала. Очень она любила его и замуж так и не вышла, хотя женщина ещё молодая была, красивая.

После войны бабушка вышла замуж за военного врача, с которым счастливо прожила четверть века. А её сестра с мужем-художником осела в Плесе. Должно быть, от отца унаследовала тётя Саша творческие способности...

Бабушка рассказывает ещё что-то – о соловецких узниках. Флоренский, епископы, Волков, Лихачёв... Осоргин, офицер-монархист, расстрелянный сразу после отъезда жены, приехавшей к нему на свидание. Тайные богослужения в лесу... Тайная Пасха...

Когда читаешь о тех людях, то изумляешься: откуда брали они силы жить? И не просто жить, но оставаться Людьми, сохранять достоинство, не отречься от своих святынь и не становиться на скользкий путь лжи? Как же измельчали мы в сравнении с ними! Мы плачем и жалуемся по всякому поводу, ругаем жизнь и ропщем на судьбу... Мы до того разнежались и ослабели духом, что из нас можно вить верёвки, не прибегая к террору. Нашим дедам грозили огромные сроки в адových кругах ГУЛАГа, расправы с семьями, расстрел... Нам довольно пригрозить увольнением без выходного пособия, а то и меньшим, чтобы заставить плясать под их дудку. Наши деды пережили страшный голод, войну, лагеря и ссылки. Мы не можем вытерпеть и маломальских лишений. Мы клеймим предателей прошлого и настоящего, но, вот, вопрос: если нас взять тёплыми из постелей и притащить на допрос, то как скоро мы скажем и подпишем всё, что от нас потребуют? И найдутся ли среди нас такие, кто, заглянув в себя, по совести сможет сказать, что выстоит?

Ничто не делает человека столь слабым, как привычка к комфорту. К угождению себе. А именно к этому мы так привыкли! Прежнему поколению нужно было сломать хребет, нынешнее – бесхребетное – можно с лёгкостью гнуть и мять, как пластилин. «Мы платонической любовью к себе тлеем. И на коленях мы, но только пред собой» (Вяземский).

Помню, слушая рассказы бабушки, я вдруг опустилась на колени и поцеловала землю. Это было сделано инстинктивно, спонтанно. Не нашлось иного способа отдать дань памяти всем мученикам, в эту землю лёгшим. Не знаю, как посмотрели в этот момент на меня туристы и что подумали. Мне не было до этого дела... Пригоршню соловецкой земли я взяла с собой, как святыню, и храню её по сей день. Покидая Соловки, я с трепетом думала о том, что никогда не смогу выдержать и толики того, что привелось вынести тем людям, и просила подать мне хоть частичку их силы, чтобы быть достойной их...

На этом можно завершить повествование о моём детстве. Будь я писателем, прибавила бы к изложенному ещё множество деталей, не дающих никакой сколь-либо важной информации, но придающих увесистой солидности книге. Но я не писатель, а посему в записках своих решила останавливаться лишь на главном, то бишь на том, что прямо влияло на судьбу, на характер, на то, без чего мне невозможно объяснить саму себя.

Глава 2. Любовь

Моё детство закончилось с уходом бабушки. Тогда тётя Саша забрала меня к себе, и уже в Плесе я окончила школу и встретила восемнадцатый день рождения. Мной владела в ту пору растерянность. Возвращаться в Москву, где всё дышало памятью о бабушке, не было сил. К тому же я не чувствовала никакого призвания к чему-либо, не манила меня за собой огнекрылая птица мечты. Я многое умела и знала, но ни к чему не имела настоящего таланта, страсти. Все мечты мои были книжны, романичны, полностью оторваны от жизни. Между тем, жизнь требовала, наконец, спуститься с облаков, на которых столько лет катала меня бабушка, на пыльную нашу землю, ощутить её под ногами и научиться твёрдо ходить по ней, забыв детскую привычку-способность летать... Русалочка заплатила за ноги хвостом и голосом, я должна была заплатить – крыльями.

Который год вертится в моей голове сказка-притча. Грешным делом однажды я стихами набросала её на бумаге. Но стихи оказались слабы, и мой опус почил в недрах бабушкиного секретера. Сказка заключалась в том, что некая душа, жившая в небесах и не знавшая земного горя, возмечтала поселиться на земле, жить среди людей, помогая им и любя их – *вочеловечиться*. Мечтательница выпросила такое разрешение с условием, что вернётся по первому зову, и сошла на землю. И здесь начались её мытарства... Люди, которых она так любила, не могли простить ей её окрылённости. Её крылья навлекли на неё чёрную зависть. И, вот, она сперва изгнана из дворца, оклеветанная перед полюбившим её королём, затем обвинена в чародействе и лишена крыл, которые палач урезал ей на плахе под восторженные крики толпы, наконец, изгнана в леса за обличение лжи шарлатана-пророка, погубившего в итоге целый город... В лесу мечтательница живёт годы, крылья её начинают отрастать вновь. В это время она встречает Человека. Грешного, пропащего, но раскаявшегося. И в тот самый миг, когда их души сближаются, раздаётся *зов*, которому она не может противиться.

Эту сказку я сочинила лет в шестнадцать, будучи в романтическо-меланхолическом настроении. Я не знала тогда, что именно такой в чём-то будет моя жизнь...

Итак, пришло время вочеловечиться. Ещё плохо понимая себя, я решила не делать поспешных шагов и осталась в Плесе, устроившись работать в местном музее, где всегда не хватало сотрудников из-за более чем нищенского жалования. Последнее обстоятельство меня не тревожило, так как запросы мои были невелики, а работа мне нравилась: она не мешала мне мечтать и видеть сны, позволяла мне продлевать жизнь в том мире, я в котором выросла. Кто знает, может, так и осталась бы я в своём затерянном мире, если бы в этот самый год в него не занесло случайным ветром нежданного и вместе с тем давно мечтаемого гостя...

Киношники накатили в Плес по весне, едва сошёл лёд. Сперва думали мы – опять что-то о Левитане снимать или о Поленове. Мало ли художников прославили наши края? Но дело оказалось серьёзнее: снимать у нас надумали немного-немало изрядный фрагмент художественного фильма. Народу понаехало тьма. А среди них – артисты, своими холёными мордашками ещё раньше посредством телеобщения вскружившие головы многим девчонкам. На съёмки и любые связанные с оными мероприятиями последние бегали как на работу, забыв обо всём на свете. Глазели восторженно, кланчили автографы...

Не скрою, не раз хотелось поглазеть и мне. Но что-то не пускало. Что-то изнутри противилось. В конце концов, кто все эти люди? Обычные люди, такие же, как мы. И приседать перед ними, заискивать – что за дурновкусие!

Тем временем, часть киношников расквартировалась у местных жителей, охотно сдававших им комнаты. Не осталась без заработка и тётя Саша, сдавшая бывшую комнату дяди Алёши молодому помощнику режиссёра по фамилии Ковалевский.

Так судьба свела нас с тобой впервые.

Я никогда не забуду того вечера... Вечера твоего приезда. Сперва я увидела два чемодана, которые услужливо втащил в дом вечно поддатенький дядя Гриша. Затем тонкую, лёгкую фигуру в пальто с поднятым воротником, скользящую от калитки к крыльцу... Остановка. Последние затяжки никотином. Сизый дымок, сливающийся с не менее сизым туманом. И, вот, ты уже взбегаешь по ступенькам крыльца, едва касаясь их, и мы оказываемся с тобой лицом к лицу.

Лицо – всякое новое – я вбираю в себя взглядом, точно ощупываю. Особенно – глаза. Глаза и голос – непреодолимая власть надо мной. Это я прочту позже у Цветаевой и жирно выделю: обо мне!

Мне трудно судить, красиво ли твоё лицо. Это не то слово. Оно мелко и пусто. И даже пошло, потому что избито до последней возможности. В твоём лице было что-то неуловимое, невыразимое... Благородство, породистость, ум – всё это было, но и это не то. Было ещё что-то. Главное. И главное крылось в тёмных глазах, смотрящих всегда как будто сквозь собеседника, живущих своей особой внутренней жизнью, жизнью души.

– Разрешите представиться, Леонид.

И голос... Глубокий, бархатистый, низкий, но в то же время при определённых интонациях обретающий лёгкую, мелодичную звончатость.

Что-то я пролепетала тогда в ответ, и подоспевшая тётя Саша повела тебя в твои «покои». А над ухом у меня раздался восторженный Шуркин шёпот:

– Симка! Какой обалденный мужик, ты заценила?!

Меня коробит каждое слово этой фразы. Особенно «обалденный мужик» в отношении человека, который показался мне гостем из такого же затерянного мира, как и мой собственный, и к которому менее всего подходили пошлые (любые житейские) определения.

– Интересно, сколько он у нас жить будет? Вот бы закрутить с ним!

Шурка в ту пору оканчивала одиннадцатый класс и имела преданного поклонника в лице недалёкого, но хорошего и честного парня Васи. Шурке Вася не нравился, и я понимала её. Надёжен он был, добр, а только скучен. Как и другие местные парни, Вася не читал книг, смотрел по телеку футбол и боевички, слушал ужасный рок, любил гонять мяч по полю или рыбачить на реке. Вася подражал героям американских фильмов, качал мускулы, занимался борьбой, развязно разговаривал и всячески подчёркивал свою «крутизну». Васю всегда можно было попросить о чём-то, Вася отлично управлялся по хозяйству, был отзывчив и открыт. Одна беда – говорить с ним было не о чем. И меня даже удивляло, как Шурка подолгу выдерживает его общество... Но до сих пор иного просто не было, а наличие поклонника было необходимостью, чтобы не оказаться белой вороной среди подруг. Но, вот, замаячили «кадры» получше, и глаза моей сестрицы откровенно заблестели.

Любопытно, каковы были мои глаза в тот момент, когда ты переступил порог...

Впрочем, тебе не было ни малейшего дела до наших глаз. Обе мы были для тебя провинциальными девчушками, серыми мышками, не стоящими внимания. Разумеется, ты ничем не выдавал своего небрежения, ты был безукоризненно вежлив с нами, но держался так, что никому в голову не могло прийти – сократить дистанцию. Твои коллеги легко сходились с местными, не брезговали совместно «дерябнуть», поговорить «за жись». Но не ты! Ты оставался на пьедестале, не снисходя со своей богемной высоты до простых смертных. Мы были не интересны тебе, и это, не скрою, обижало нас, потому что наш интерес к тебе разгорался с каждым днём.

В те дни я впервые с беспощадной критичностью осмотрела своё отражение в зеркале. Бледная моль. Ничего, что могло бы привлечь. Уныло правильные черты, напрочь лишённые своеобразия. То ли дело Шурка! Шурка – игристое шампанское, да простится мне алкогольное сравнение. А я? Зелёный чай, не больше...

Всё же я приняла кое-какие меры по исправлению своего внешнего вида – распустила волосы (что казалось мне эффектным), подкрасила глаза и губы, вместо бесформенного свитера нацепила нечто узкое, выгодно подчёркивающее талию. Так я казалась себе значительно привлекательнее...

Многие дни я тайком наблюдала за тобой, изучая, не упуская никакой мелочи. Что предпочитаешь есть и пить, как держишь сигарету, какие слова употребляешь чаще иных, твою походку, типичные движения и жесты, интонации, смех... Когда ты уходил, я проскальзывала в твою комнату и любопытствовала, какие книги ты читаешь. Всё, решительно, занимало меня в тебе, и всё я готова была любить. Самым радостным было для меня, когда по вечерам, будучи в настроении, ты после ужина рассказывал нам какие-нибудь закулисно-закадровые истории, что ещё больше превращало тебя в наших глазах в небожителя.

Простые люди, вообще, воспринимают кино, как нечто особенное. Человек, имеющий отношение к этому миру, уже наделён в их глазах неким ореолом. Ведь он может запросто общаться с теми, кого они видят лишь на экранах! А обитатели экранов, в свою очередь, также имеют для простых людей серьёзный вес, будь они даже и не легендарными актёрами. «Показали по телевизору» – это мерило успеха у публики. Если ты показался в экране, то на тебя смотрят уже с уважением, и становишься ты из «ваньки» «иван иванычем». Это я определённо поняла годы спустя, когда не чья-нибудь, а именно моя «парсуна» впервые высунулась из телевизора, вызвав шквал поздравлений от людей, которых я и в знакомых-то не числила...

Что уж говорить о тебе! Какие слова изрекались твоими устами! Какие имена небрежно слетали с них! Тётя Саша млела и готова была считать тебя будущим классиком мирового, никак не меньше, кинематографа. Я же готова была сгореть от стыда за свою безграмотность. Оказывается, в образовании, которое дала мне бабушка, был грандиозный пробел! Я не знала великих произведений авторского кино! Даже фамилий и названий таких не слышала... И оттого внимала твоим словам, как откровению.

Пройдёт время и свою «необразованность» я исправлю, методично просмотрев всё, о чём рассказывалось в те памятные вечера. А просмотрев, задумаюсь: просмотрел ли ты сам до конца хоть что-то из этих «шедевров»? И откуда повелось такое: всякую чернуху с жуткой моралью, с извращениями, с выворачиванием наизнанку всего и вся гордо именовать «авторским кино»? И какой процент чернухи должен быть в картине, чтобы она была признана «авторской»? И что есть всё то, что чернухи не содержит?

Щеголять громкими именами и названиями, стоящего за которыми никто не ведаёт – лучший способ изобразить для публики интеллектуала, знатока, представителя элитарных слоёв. Обо всём известном публике, классическом, простом и настоящем – через губу. О том, что «не для всех» – с придыханием и значением (не для вас, мол, высокое искусство, быдло серое, раз вы его уразуметь не можете). Я готова биться об заклад, что все эти придыхания – ложь. И сами «придыхающие» ни йоты не понимают в том, о чём говорят. Но они тешат этой игрой своё тщеславие. А проворные бездарности ловко играют на их тщеславии и на этом делают себе имена, пролезают в классики. Тут бы Гоголя надо, чтобы нравы эти представить, но увы...

Эти осознания и понимания придут позже. А тогда я, восемнадцатилетняя девчонка, слушала тебя с восторгом, принимая всякое твоё слово за истину в последней инстанции. Тем более, что все слова произносились с силой настоящего артистического таланта, которого было тебе не занимать. Ты, двадцатипятилетний начинающий режиссёр, казался мне мудрецом и умом исключительным. Ум же и изящество манер имели для меня не меньшую важность, чем глаза и голос, поскольку и то, и другое стало в наши дни таким же дефицитом, как сервелат в период позднего застоя.

Более всего мне хотелось остаться с тобой наедине, поговорить тет-а-тет. Мне казалось, что мои редкие для столь юных лет познания непременно поразят тебя, и ты станешь отно-

ситься ко мне иначе. Сколько раз я представляла себе нашу беседу! И какие умные слова придумывались! Хоть записывай для благодарного потомства...

Но, увы, воображение редко совпадает с реальностью. Разговор тет-а-тет произошёл, но совсем не так, как я ожидала.

В то утро я, как обычно, отправилась в лес – здороваться с берёзами и молиться, набивая синяки о пенёк. Боли в коленях я почти не чувствовала, окружающее – не замечала. Где-то внизу шли по реке пароходы и баржи, подавая гудки. Сквозь ещё лёгкую, ажурную листву струились лучики солнца, которым я охотно подставляла лицо. Ни в одном храме не молилось мне так хорошо, как в лесу. Он-то и был моим настоящим, нерукотворным храмом...

Хрустнувшая ветка заставила меня испуганно вскочить на ноги. Ты стоял прямо напротив меня – а я не заметила, как ты подошёл...

– Простите, я не хотел мешать вам.

– Совсем нет... Я просто обронила... Искала...

Врать я в ту пору не умела. Да ещё с бухты-барахты. Запуталась враз и зарделась до кончиков ушей, как пионерка, застигнутая за не подобающим занятием. Отчего-то я стыдилась своих тайных «молебнов»...

– Нет, вы молились, – спокойно разоблачил меня ты. – Я наблюдал за вами, простите.

– Некрасиво подсматривать...

– Я не подсматривал, а смотрел. И любовался.

Мысли мои путаются, язык – ещё больше. Бормочу что-то бессвязное и хочу лишь одного – скорее сбежать, а лучше провалиться.

– Вам никто не говорил, что у вас особенное лицо? Старинное! Вы только не обижайтесь! Я в хорошем смысле. У вас лицо похоже на лица со старых фотографий. Такие сейчас редко встречаются. А вы – словно из прошлого века.

На душе у меня теплеет. Такой комплимент мне нравится. Я немного расслабляюсь, но всё ещё не могу заставить себя изъясняться связно. Меж тем, ты и не ждёшь моих ответов, продолжаешь своё:

– Вот только... Не носите вы волосы так. Они не сочетаются с лицом... – и с бесцеремонностью, окончательного выбивающей меня из колеи, ты укладываешь мою разлохмаченную гриву в подобие причёски: – Вот так. Как на старых фотографиях. И осторожнее с макияжем. Только бежевые тона. Это выглядит благородно и никогда не покажется пошлым.

От твоего оценивающего взгляда мне становится неловко. Но ты не обращаешь внимания на моё смущение. Твои мысли заняты другим.

– Почему вы никогда не приходите на съёмки? Все ходят, а вы нет?

– Да как-то... Так... Времени не было... – глупо мычу я, кляня напавшее косноязычие.

– Вы не приходите, потому что приходят все, – словно под микроскопом препарировав мой внутренний мир, заявляешь ты. – Вы не можете быть там, где все, верно? Вам претит это. Вы привыкли держаться наособицу...

– Может, и так...

– А если я попрошу вас прийти? И не в качестве зрителя-ротозея, а для съёмки?

– Я же не актриса!

– А вам ничего не придётся играть. Нам нужен один кадр... А в кадре лицо из другого времени, понимаете? Особенное лицо. Глядя на вас, я понял, что именно ваше лицо нам и нужно! Соглашайтесь! Говорить ничего не придётся. Просто сидите и смотрите, думайте о чём-то своём, молитесь... А работать будет оператор. Так вы придёте?

– Хорошо... Приду...

На другой день я пришла на съёмку. Она была камерной, внутри специального помещения. Кроме тебя, была ещё какая-то пожилая дама и мрачный с похмелья оператор. Вместе с дамой вы сперва занялись моим внешним видом, подгоняя его под фотокарточки, которые ты

постоянно листал, сличая. Дама дело своё знала: вскоре голову мою венчала высокая причёска, какие носили в начале прошлого века. Ещё несколько штрихов – и образ был создан.

– А теперь подумайте о чём-то большом, высоком. Нам нужна одухотворённость, глубина взгляда.

Я не знаю, можно ли искусственно придать взгляду одухотворённость. Отчего-то мне кажется, что такая задачка непосильна и гению, если он начисто лишён указанного качества. Из этого могу сделать отрадный и лестный вывод, что сама оным обладала.

Думать в тот момент я могла только о тебе. Но мысли эти были исключительно высокими, ибо грёзы мои носили характер романтический и невинный.

Хотя речь шла всего лишь об одном кадре, ты заставил меня позировать в разных ракурсах, решив отобрать лучший из отснятого материала. Когда всё закончилось, оператор одобрил:

– Знать! Глебыч будет доволен. Если бы наша кукла Мальвина на дурака Стрелецкого могла смотреть такими же полными глазами, пятьдесят процентов успеха кинцу было бы обеспечено.

– Кукла не может иметь полных глаз, – резонно замечаешь ты. – А на Стрелецкого нельзя смотреть иначе по причине кристальной чистоты головного мозга...

– А зачем ему мозг? С такой-то мордой! Все ихние делоны рядом не стояли...

– Стереотип! – морщишься ты. – Как вы думаете, Сима?

– Что? – не понимаю я.

– Нравится вам Стрелецкий?

Стрелецкий в те годы был самым красивым актёром нашего кино. И этим сказано о нём всё. Пустая красота, за которой ничего нет. Невыносимая скука...

– Нет, не нравится, – честно отвечаю я не без гордости (всем нравится, а у меня запросы больше, мне мордашки маловато!).

– Вот как? И чем же? Разве он не красив, по-вашему?

– Красив, как лицо с обложки. Но картинки-то мало, а нужен характер. Человек нужен. С которым можно поговорить по душам... С которым интересно. А лица с обложки скучны. Я не могу представить себе, что с ними можно просто сидеть за столом и говорить... о литературе, например.

– Смотря за каким столом, – хмыкает оператор. – Стрелецкий за столом, когда на грудь примет, куда как разговорчив! И о литературе тоже! Хотите – Гамлета врежет, хотите – Островского.

С того дня между нами установилось взаимопонимание. По крайней мере, мне так казалось. Мы время от времени встречались в лесу, я показывала тебе свои любимые, заповедные места и восторженно слушала твои рассказы. Даже сейчас я должна признать, что более счастливых мгновений в моей жизни не было. Когда мы шли совсем рядом, и ты подчас поддерживал меня под руку, я боялась смотреть на тебя. Боялась, потому что хотелось не смотреть – целовать. И эти, уже менее невинные, нежели прежде, грёзы теперь то и дело находили на меня, будоража. Знала бы я, что в это же самое время... Но не буду забегать вперёд.

Если кого и выводило из себя твоё присутствие в нашем доме, так это Васю, напрочь забытого Шуркой. Вася ходил теперь мрачнее тучи, караулил мою ветреную сестрицу везде, где мог, а она ловко ускользала от него, умножая его досаду.

Как-то возвращаясь из леса одна, я заметила сидящего на бревне у кострища Васю. Здесь они нередко миловались с Шуркой, таясь от тёти Саши. Здесь же любила погудеть местная молодёжь. Вася был в этот день трезв и серьёзен. Видавшие виды джинсы сменили выглаженные брюки, кроссовки – начищенные ботинки. На пеньке стояла пластиковая бутылка сидра и лежал «Твикс». «Вино» и «шоколадка» – практически джентльменский набор.

– Ты никак Шурку ждёшь? – осведомилась я, подойдя.

– Её, – последовал тягучий вздох. – Обещала прийти, а второй час нету.

Небо затянули тучи, и начавшийся мелкий дождь набирал силу.

– Ты так и собираешься здесь сидеть? Дождь же! Вымокнешь!

– Ничего. Как вымокну, так и высушусь. У костра...

– А если она не придёт?

– А ты скажи ей, что я здесь её жду и буду ждать, пока не придёт. Даже если околеть придётся к её радости.

– Может, лучше к нам пойдём? И её застанем как раз...

– Она меня в дом не зовёт, так я и не пойду. Договорились здесь, значит – здесь. А ты иди. Сама, вон, мокнешь стоишь.

Я делаю шаг, чтобы уйти, но меня задерживает горький вопрос:

– Вот, скажи мне ты, чего вам, бабам, эти столичные петухи дались? Сиволапые мы для вас, что ли? Рылом не вышли? Или ещё, может, чем?! Так при нас всё! И в полной боевой готовности! Так сестре своей и скажи!

– Сам скажешь, – холодно откликаюсь я. – Может, из-за такого мерила она и не приходит.

– Да ладно! – Вася раздражённо машет рукой. – Только не надо мне впаривать туфту, что этот хлыщ её своей образованностью охмурил! Лоску много! Морда холёная да шкура гладкая! Только кроме шкуры-то этой белой ни хрена и нет! Шкура и всё! А вы разомлели! Ну, ладно дурёхи наши, но ты-то! Бегаешь тоже за этим козлом, будто он принц на белом жеребце! Экая невидаль! Да ты сними с него костюмчик его и дай ему лопату в руки! Чего он может? Языком молоть? Дак то не дрова колоть, не взопреешь!

– Знаешь что, Вася, если ты не можешь завоевать девушку, то не надо искать причину в третьем лице. А уж тем более так говорить о человеке, которого не знаешь. Это... недостойно.

Моё «недостойно» звучит почти нелепо. Мне хочется ответить Васе пространной отповедью в твою защиту, но из сочувствия к горькому положению друга детства сдерживаюсь и, простившись, спешу домой.

Домой я прибежала промокшая и раздражённая. Уж очень задели меня васины слова! Обидно было и за тебя, и за себя. А глубже того – болезненной ревностью к сестре отразилась во мне ревность её поклонника к тебе...

Итак, я вернулась домой с твёрдым намерением наставить Шурку на путь истинный и убедить её не морочить больше голову славному, по крупному счёту, парню. Вначале мне показалось, что дома никого нет, и я уже включила электрический самовар, чтобы напиться горячего чаю, как вдруг расслышала странные звуки, доносившиеся из твоей комнаты...

Я осторожно приблизилась к двери, которая оказалась чуть приоткрытой, и заглянула внутрь. Описывать увиденную картину не стану, ибо навряд ли обладаю талантом живописания эротических сцен. Скажу лишь, что мне потребовалось собрать в кулак всю свою волю, чтобы медленно дойти обратно до кухни. Вот, значит, какова цена твоим речам... Твоим высоким словам... Ловко устроился ты в нашем доме! Одна сестра служила тебе для общения духовного, а другая... А Шурка-то какова! Неужто влюбилась так, что всякий стыд позабыла? Или не теперь она забыла его, а просто я не знала об этом?

Закипал, шипя и гудя, самовар. Закипала и моя душа в такт ему. Резко вырвав штепсель из розетки, так и не попив чаю, я выбегаю под дождь и стремглав, плохо сознавая себя, несусь к лесу, к опушке, где так и сидит в ожидании верный Вася.

– Ты чего примчалась, чеканутая? – хмуро спрашивает он. – Шурка где?

– Не придёт она, Вася...

– Это она тебе передать велела?

Я лишь качаю головой.

– Тогда почему ты решила?

– Потому что... Уходи, Вася. Не жди её...

Вася с хрустом ломает толстую ветку:

– Ясно всё с вами, – цедит сквозь зубы. – Ну, гаду этому я ещё рёбра посчитаю!

Не знаю, посчитал бы Вася твои рёбра или нет, но в ту же ночь в сильном подпитье он устроил драку и получил пятнадцать суток за хулиганство. За эти две недели ты успел покинуть Плёс, и ваша с ним не обещавшая быть тёплой встреча не состоялась.

Вскоре после этого Васю призвали в армию. Шурка не пожелала даже проститься с ним, а я пришла утром на проводы, отчего-то несколько не думая о том, что в последний раз вижу такое привычное и родное с детских лет скуластое лицо...

Через полтора года его мать получит извещение, что её сын, сержант Максимов, погиб, защищая Родину, где-то в горах Чечни... Погиб, прикрывая отход солдат, командование над которыми взял после того, как снайперской пулей был убит их командир...

Я часто вспоминаю Васю Максимова... Особенно, когда ведутся вокруг патетические словопрения о судьбах России. Я знаю многих людей, понимающих и любящих русскую культуру, традиции, историю. Людей сознательно русских, русофилов. И даже верующих православных. Все они исключительно умно рассуждают о русском народе, русской душе и характере. О том, в частности, что русского в России практически не осталось, что оно вытравлено, вытоптано советизмом, что есть лишь единицы, истинную русскость сохранившие. Под единицами, само собой, каждый имеет ввиду себя. Что ж, немало справедливого в горьких словах этих мудрых людей. Вот, только мало кто из них в случае нужды пойдёт и просто, без речей и идейных обоснований, отдаст свою драгоценную жизнь – за Родину. А многие, пожалуй, обеснуют, что Родины в её историческом понимании у нас нет, а, значит, мы ничем не обязаны тому, что есть теперь, и верность мы храним лишь тому, чего больше нет, кроме как в нашей памяти и воображении. Итак, придёт день, начнётся война. Профессиональные русские будут говорить речи (одни – призывающие к жертве, другие – отрицающие необходимость оной в условиях отсутствия настоящей Родины), писать статьи и спорить до черноты в глазах. Все они будут верны Родине (духовной, или какой-либо ещё). Все они станут талантливо пояснять суть войны и миссию России, щеголяя своими знаниями, просвещённостью, причастность к истории России и свысока взирая на народ, из которого вольно или невольно выделяют они себя в некие избранцы. А сыновья этого самого тёмного народа, куда как далёкого от сознания своей русскости, знания традиций, религиозности, мальчишки, воспитанные не на лучших образцах нашей словесности, а на идиотских западных фильмах, не знающие толком истории – пойдут умирать. Почему? Зачем? За что? Навряд ли они пояснят это внятно. Пояснять – это по части мудрецов. Но какова цена всей их мудрости, знаниям, русскости в сравнении с отданной жизнью девятнадцатилетнего мальчишки? Никакая мудрость и «праведность» никогда не перевесит жертвы. И остаётся вопрос: кто же больше русский? Тот, кто мудро говорит о России, или тот, кто умирает за неё? Наши профессиональные русские утратили, кажется, самое главное, глубинное – русский инстинкт. А в девятнадцатилетних мальчишках, поди ж ты, сохранился он. И потому они, поверхностно замороченные западным варевом, в глубине души остались теми самыми русскими мальчишками, о которых писал Достоевский.

Циники непременно возразят, что Родина здесь ни при чём. Что брошенные в пекло войны люди обречены сражаться – против врага. За свою жизнь. И привычно солгут. Потому что не свою жизнь защищал сержант Максимов, истекая кровью отбивавший атаки боевиков, чтобы дать уйти своим. И не за ордена и награды заживо горел офицер – также прикрывающий отход своих. И не для какой-то корысти не уехал в Германию, а пошёл служить и погиб, заслонив от пули командира – рядовой Саша Лайс. Не за корысть, не за абстрактные идеи сражались и гибли преданные и оболганные русские мальчишки. И не за каноны и догматы принял мученическую смерть Женя Родионов. А просто и безыскусно – за Христа...

Есть высшие понятия, которые не поддаются детальному разбору, анализу, не встраиваются в концепции. И есть одно единственное, перевешивающие любые слова, единственное, перед чем надлежало бы замолкнуть всякому голосу, если за ним нет чего-либо равнозначного.

Это единственное – *жертва*. И всякий раз, когда захлёстывает горечь, когда сама я сыплю упрёками по адресу тёмного народа и потерянного поколения, осекаюсь. Можем ли мы точно знать, что завтра сегодняшние шалопаи не погибнут, защищая нас? И можем ли мы, судящие, точно знать о себе, что в грозный час не перетрусим, что способны на жертву? О себе я этого не знаю. И потому, сколь бы ни велики были те или иные мои успехи, какие бы достоинства ни удалось стяжать, я навсегда останусь ниже, чем простой, полуграмотный парень Вася Максимов. Никакое моё слово уже не перевесит его крови...

Но я отвлеклась от своего рассказа. А, между тем, прежде чем перейти к следующей главе, должно ещё кое-что досказать.

Дни, предшествующие твоему отъезду, я пролежала больной. Отчасти это было правдой: беготня под дождём не прошла даром. Но в большей степени я притворялась, чтобы избежать встреч с тобой. После того, что я видела, мне слишком трудно было бы говорить с тобой, как ни в чём не бывало. А показать свою обиду, униженность, уничтоженность я не могла. Гордость не позволяла. Да и с какой стати? Ведь ты, рассуждая объективно, не подавал мне ни малейших надежд, в наших отношениях не было и намёка на что-то, выходящее за пределы приятельства. Я сама сочинила себе романтическую грёзу и поранилась её осколками, когда она разбилась. Значит, вина только моя, а твоей – ни малейшей...

В своих эгоистических переживаниях я совсем забыла о том обмане, который был в действительности, забыла о Шурке. Вот, для кого твой беззаботный отъезд стал настоящим ударом! Бедняжка полагала, что между вами было что-то серьёзное, а не командировочное приключение... Хотя, если строго объективно, то ведь тебе и соблазнять не пришлось её. С первого дня она бродила за тобой тенью, бросая недвусмысленные взгляды и подбирая более чем фривольные туалеты. Всё поведение её было таким, словно бы она – бывалая женщина, которой всё нипочём. Впрочем, ты, с твоей пронизательностью, не мог не понимать, что на самом деле перед тобой всего лишь сопливая девчонка, играющая во «взрослую» в меру своего полудетского понимания «взрослости». Ты понимал это, но решил не отказывать себе в лёгком удовольствии...

Для Шурки это «удовольствие» обернулось самыми нежелательными и естественными последствиями, устранёнными ею тайком от тёти Саши. «Устранение» это также имело достаточно нередкое следствие: мать Шурке стать было впредь не суждено.

Слава Богу, об этом не узнала тётя Саша. И не узнал Вася, который, останься он жив, никогда бы не спустил тебе этого... Хотя... Ты ведь не знал о «последствиях». Шурка не желала известить тебя, оскорблённая твоим пренебрежением и видевшая в ребёнке исключительно несвоевременную обузу.

Видишь, даже теперь я не могу отделаться от привычки во всём искать тебе оправдание. Нашла и тогда, презрев обиду и несчастье сестры. А найдя, совершила, пожалуй, самый глупый и опрометчивый поступок в своей жизни – отправилась в Петербург...

Глава 3. Петербург

К Петербургу у меня отношение особое. То был город моей детской мечты. В моём воображении он был окутан неким романтическим, почти мистическим флёром. Город Достоевского... Гоголя... Имперская столица... Культурная столица... Город, в отличие от Москвы, ещё сохранивший своё лицо – не русское, из мрамора выточенное, холодное, но русскому сердцу отчего-то бесконечно родное и дорогое...

В Петербург мы собирались поехать с бабушкой. Но не случилось. И от этого мираж Петрова града только сильнее манил меня, притягивал, завораживал. Мне отчего-то чудилось, что в этом городе меня непременно ждёт что-то необычайное, что-то, что перевернёт мою жизнь, сделав её особенной. Одним словом, Питер виделся мне градом моей судьбы. И не музеи влекли меня туда, а улицы, стены, атмосфера...

Но главным, конечно, было иное. То был *твой* город. Не только Достоевского, Гоголя, Ахматовой... Но – твой. И ехала я туда в слепой надежде быть рядом с тобой. Пусть не вместе, но хотя бы вблизи, так, чтобы можно было хоть изредка видеть тебя, слышать твой голос. Мне казалось, что без этого я просто задохнусь, не смогу жить.

Ах, какая тоска владела мной в ту пору! И не только любовная. Жестоко страдала моя гордость. Смешно сказать, ведь я предполагала, что сумею прожить свою глупую жизнь умнее других. Ведь в отличие от других я так хорошо знала жизнь, благодаря книгам! Ведь бабушкино воспитание дало мне такой твёрдый и надёжный фундамент! Ведь сама природа наделила меня ровным, флегматическим характером! Я была уверена, что просто не способна к сильным чувствам. Тем более, к страсти. Страсти просто обязаны были миновать меня. Страсти – удел людей, не умеющих владеть собой, не умеющих следовать голосу рассудка. Но я-то! Я-то всегда слушала рассудок, голосом бабушки запрещавший мне делать глупые поступки. Как же я гордилась этой своей бесстрастностью! Она возвышала меня над другими! Делала сильнее других! Потому что человек, управляемый чувствами, всегда слабее того, кто чувствами управляет.

Ну, что ж, за свою гордыню я расплатилась сполна. Ты появился, и всё, что казалось мне столь незыблемым, неизменным, рассыпалось в прах. Я перестала владеть своей душой. Оказалось, что ничем я не отличаюсь от простых смертных, что так же, как и они, не могу противиться страсти. Впрочем, именно так всё и должно было произойти. Ведь читая романы, я рисовала в своём воображении спутника по себе. И спутник этот никогда не был рыцарем без страха и упрёка, но всегда – натурой загадочной, сложной и полной противоречий, даже отрицательной, но с историей, с трагической печатью на челе... Этакий «печальный демон», одинокий, бесприютный, с раненой душой, не знающий покоя и счастья сам и лишаящий оных других. Мне всегда становилось жаль таких героев, я домысливала их психологический портрет, ища корни их душевного недуга и воображая, как под благотворным влиянием любящего сердца, непременно дополненного трезвым рассудком, оный недуг был бы исцелён, а «демон» преобразился бы в ангела света. Само собой, роль такого сердца, уравновешенного рассудком, я отводила себе, упражняясь в своих фантазиях в сложной науке перевоспитания заплутавших душ, которые не могут сами выбраться из лабиринта, в котором очутились, и страдают от этого, пусть даже скрытно, и нуждаются в проводнике. Именно гостя своих снов-мечтаний я «узнала» в тебе, наделяя тебя и драматической историей, и сокрытой печалью, и гордостью, мешающей искать помощи, заставляющей переживать в себе свою боль... А ведь ещё вчера мне казалось, что таковой герой может существовать лишь в воображении, а, значит, в реальности ничто мне не угрожает.

Несмотря ни на что, я очень благодарна тебе. Если бы не ты, я никогда бы не узнала саму себя. Осталась бы «человеком в футляре». А ты вырвал меня из футляра, раскрыл. Я узнала,

как сильно могу любить и на что идти во имя этой любви... Бог миловал, мне не пришлось осуществить на практике то, к чему я была готова. А готова я была ко всему. Хоть свою жизнь отдать, хоть чужой пожертвовать... Бог пощадил безумие, дав испытать лишь унижение, что было необходимо, чтобы смирить меня.

Унижением же было всё: смотреть на тебя с собачьей преданностью, идти на уловки, чтобы лишний раз попасться на глаза, жадно ловить любое подобие ласки, стараться услужить в любой мелочи, бороться с собой, чтобы держаться отстранённо, когда невыносимо хотелось броситься тебе на шею, целовать твоё лицо, и, наконец, понимать, что я для тебя – *прохожая*...

Всю долгую ночь в поезде, нёсшим меня в город моей мечты, я видела тебя. Я не спала, не смыкала глаз. И в том сне наяву ты был рядом. Я чувствовала твоё тепло, запах, слышала твой голос до самой тонкой интонации... Вот, только даже во сне не слились наши губы в поцелуе, и лишь мои – касались твоих волос. Это была самая большая вольность, которую позволила я себе – даже в воображении. Впрочем, и того было довольно, чтобы на перрон я сошла в окончательно межумочном состоянии.

Сделав одну крупную глупость, мы обыкновенно не можем остановиться и непременно с разгона совершаем новую. Именно так я и поступила. Зная три языка, я обязана была поступать на соответствующий факультет и получать надёжнейшую профессию переводчика. Что же сделала я? Направилась напрямиком в ЛГИТМиК.

Я никогда не играла в любительских спектаклях, не имела ни малейшей склонности к актёрству, не считала саму профессию эту серьёзной. Я даже не учила никаких монологов и прочего необходимого. Да и зачем? Благодаря бабушкиным пластинкам, голова моя была переполнена ими.

Мне всегда казалось, что в литературе весьма мало по-настоящему интересных женских образов. Мужские – дело иное. Тут – выбор богатейший! А с женскими туго. Впрочем, переступая порог ЛГИТМиКа, я твёрдо знала, какие роли хочу сыграть. Более того, смогу сыграть, как никто другой. Людмилу из «Поздней любви» и княжну Марию из «Цветов запоздалых».

«Поздняя любовь» – удивительное произведение Островского. Насколько не выношу я «Грозы» с её надуманными страстями, нарочитостью их, с безвкусным сгущением красок, подобающим для гротеска в комедиях, но не для трагедии, где требуется сама жизнь, живая психология, настолько обожаю «Позднюю любовь». Словно бы двух разных драматургов произведения. Какая чистота, гармония, мера, тонкость во втором! Ничего лишнего, наносного и нарочитого. Помню, как ещё в детстве запало в душу: «Другой любви я не знаю!» И в самом деле, какая иная любовь может быть, нежели та, которая готова отдать всё, дабы спасти любимого? Что такое деньги, долг, даже честь отца, когда гибнет тот, кого любишь? Можно ли отвернуться и не попытаться спасти – пусть даже пожертвовав всем? Если можно, то и нет любви. А одна только выдумка. Так Евгения Гранде отдала все свои деньги, даримые скупым отцом, не боясь проклятья его, тому, кого любила. И пусть он оказался подлецом и предал её, но всё же жертва её была единственно правильным движением души. Потому что нельзя вдаваться в расчёты, когда нужна помощь тому, кого любишь.

История Евгения Гранде трагична. У Островского всё разрешается счастливо. Но нота жертвы связывает два эти столь разные произведения. И «Цветы запоздалые», во многом, о том же... Из всех чеховских пьес, признаюсь, не любимых мною, эта занимает особое и отдельное место. Потому что именно в ней была – моя роль. Не знаю, почему, но именно так я ощущала в описываемую пору. Потом, когда судьба сбудется, поймётся – почему. Та роль угадывалась мной перекличьем с собственной жизнью... Ровно как Мария, я самозабвенно любила выдуманный образ, приданный реальному человеку, любила, закрывая глаза на несоответствия, не желая замечать их. Желая видеть рыцаря, пусть даже и скупого, в человеке, к рыцарству ни малейшего отношения не имеющему.

Прежде чем продолжать мою историю, позволю себе несколько забежать вперёд. В ЛГИТМиК я поступила легко, так как не перевоплощалась, а лишь высказывала собственные чувства словами великих... А, вот, дальше дела пошли хуже, ибо к ролям, где перевоплощаться было необходимо, я было не годна. Играть я не умела, нравам актёрской братии была чужда. В итоге, через год я поняла свою полную неуместность в данной профессии. Да и опытные люди пояснили мне то же, посоветовав поискать себя в чём-либо ещё. Так прикончилась, не начавшись, моя актёрская карьера. И слава Богу! Худшего применения себе я вряд ли могла найти.

Однако, возвращусь к началу моих петербургских скитаний. Это было, по истине, особенное время. Особенное, прежде всего, тем, что жила я в ином измерении, чужой жизнью, словно бы перестав быть собой. За девятнадцать лет я никогда не жила вне дома (будь то Плёс или Москва), без старших. Жизнь моя проходила в тепличных условиях, и я очень терялась, когда размеренный ритм её нарушался, когда приходилось что-то решать самой, бывать в обществе малознакомых людей, которых я неизменно дичилась. И, вот, бросив всё и всех, я сорвалась в незнакомый город, где не было у меня ни души, поступила в институт, поселилась в студенческой общаге... В нормальном состоянии это было совершенно немыслимо и невозможно. Но в том-то и дело, что нормальным оно не было. Все мои страхи, сомнения, чувства, мысли были вытеснены тобой. Процентом девяносто моих мыслей и переживаний были обращены к тебе. Ложась спать и закрыв глаза, не молитвы шептала я, а твоё имя, и твоё лицо мерещилось мне до рассвета. Читая какой-нибудь этюд, я видела перед собой тебя. Бродя по питерским улицам, я думала о том, что по ним ходишь и ты, видишь те же дома, афиши, витрины... Я пыталась угадать, о чём ты думаешь, видя их, представляла твой взгляд, движения... Пожалуй, ни один другой город не навеивает сны наяву с такой болезнетворной силой, как Питер. Раскольниковы, Мечтатели, Настасья Филипповны, Версиловы – нигде больше не могли случиться эти явления, нежели в Петрограде. Они неотрывны от него, они одержимы, как он, как он – выпали из реальности. Питер – холодный мираж, город-сивилла, заманивающий, дурманящий и не отпускающий. Страсти, вспыхивающие в нём, носят оттенок болезненный – как будто сам климат, промозглый, неровный, действует на них.

Все мои полтора питерских года походили на один нескончаемый бредовый сон. Никогда не выступавшая на публике, стеснявшаяся её, я теперь представала перед нею совершенно спокойно. Никогда не вынуждаемая добывать себе пропитание, теперь научилась и этому. И никаких сомнений, никаких рефлексий... Им просто не было места, потому что я достигла главного – я могла видеть тебя!

Ты в то время учился в аспирантуре того же ЛГИТМиКа. Так что встреча наша была неизбежна. Помню твоё удивление, когда мы столкнулись на лестнице:

– Вот уж не ожидал вас здесь увидеть!

Никто из сокурсников не знал, что я – коренная москвичка. Слишком трудно было бы объяснить причину, побудившую меня перебраться в Питер. Для всех родиной моей был Плёс. А ты и не спросил, зачем понадобилось коренной москвичке мыкаться в питерской общаге... Позже, прокручивая в памяти наши встречи, я замечу, что ты никогда не спрашивал меня обо мне. Я как таковая была тебе несколько не интересна. Старинное лицо – прекрасная натура для фильмов (в ту пору ты изобретал новаторский метод сочетания кино с фотографией). Любопытный по своим манерам и тону экспонат – можно продемонстрировать друзьям. Наконец, благодарный слушатель, восторженно внемлющей всякому твоему слову. Вот, пожалуй, и всё, чем я была для тебя. Но и этого мне тогда хватало с избытком. Я готова была стать твоей вещью, лишь бы не потерять тебя...

Гнилой октябрьской порой ты показывал мне Петербург... Твоя эlegantность и изысканность манер и моя скромность, начинавшаяся от подола длинной юбки и заканчивающаяся застенчивым бормотанием, открывали нам двери музеев и церковей даже в неурочные часы. И, хотя я определённо чувствовала, как промерзаю до костей, но не свернула нашей прогулки

– слишком большим счастьем она была. Ты захватил с собой фотоаппарат и заставлял меня позировать то там, то здесь. Туманный, сумрачный город-мираж, а под его вуалью – женщина в немодной одежде, с «немодным» лицом...

– А теперь перегнись через перила! Не бойся! Стань на цыпочки!

Наши съёмки на мосту могли запросто стоить мне «тяжких телесных». Не говоря уже о съёмках на крышах... Но и тут ни малейшего страха не было. Сказал бы прыгнуть с моста в ледяную Неву – и прыгнула бы.

Не знаю наверное, чей образ ты искал. Незнакомки ли блоковской или бедной Сонечки? Но что-то видел, что-то находил своё. И уж, само собой, не задумывался, не закоченела ли на ветру твоя натурщица.

Две недели после этой прогулки я пролежала с температурой и жесточайшим кашлем. Надеялась, что ты вспомнишь и проведешь. Но разве вещь – проводят?.. Разве здоровьем вещи – интересуются? Впрочем, в те недели ты уехал на съёмки в Карелию и просто не мог проведать меня.

Интересно... Знакомо ли тебе чувство голода? Нет, не «завис на съёмках, не успел перекусить – голоден, как зверь», а монотонно-постоянное чувство голода, которое нечем удовлетворить? На хлеб с маслом я зарабатывала уроками иностранных языков, которые успевала давать после занятий и в выходные. Но болезнь выбила меня из колеи, и в какой-то момент я оказалась просто без средств к существованию и вынуждена была экономить на всём. Никогда не забуду, как крЮчилась ночью в постели, тщетно стараясь уснуть, чтобы не чувствовать голода. Кажется, это простое физиологическое чувство впервые отчасти вытолкнуло меня из чужого измерения, обратив к реальности.

Любой, кто станет читать мои путанные записи, непременно расценит мой питерский период, как род душевной болезни, и будет всецело прав. Но... Но... Но при всей горечи, при всей неистребимой тоске – какая же счастливая то была болезнь! Пусть даже счастье это было призрачным, обманным, как радужные галлюцинации кокаиниста...

Когда я всё-таки поправилась, мы с несколькими сокурсниками надумали устроить поэтический вечер. Вернее, вечер мелодекламаций. Этот некогда популярный в старой России жанр был почти забыт, и лишь в наше время в Петербурге стал возрождать его чудесный, тонкий актёр, образчик элЕгантности, последний аристократ нашего кино – Игорь Дмитриев. Живя в Питере, я исправно ходила на его спектакли в театре Акимова и БДТ. В первом он играл «Милого лжеца». И мне кажется, более точного попадания-воплощения после неповторимого Кторова, с которым Дмитриева сравнивали ещё во время учёбы в школе-студии МХАТ, не могло быть... Что-то общее было у этих двух актёров. Благородство, аристократизм, и в ролях характерных не умалявшийся, но главное – *время*. Они не принадлежали этому веку, а были в нём как будто гостями из века минувшего. Третьим таким актёром был Леонид Оболенский, игравший старых князей и английских лордов... Проходной фильм «На исходе лета» приобрёл особенное звучание оттого лишь, что в нём единственный раз явился дуэт двух петербургских киноаристократов – Оболенского и Дмитриева...

Дмитриевские мелодекламации произвели на меня сильное впечатление. И провести студенческий вечер было моей идеей. Моим же был сценарий действия и даже художественное его оформление. Самым сложным было подобрать собственный репертуар. Хотелось чего-то свежего, не заезженного. Ещё при жизни бабушки в машинописных распечатках читала я отдельные стихи «белых поэтов», позже отыскала и другие – и выписала, выучила. И вот их-то решила читать, зная точно, что в них не сфальшивлю, нота в ноту попаду.

Поэзия века золотого не терпит аффектации, позы, эмоций. Ей, гармоничной и светлой струйной, как ключевая вода, подобает мерное, чистое академическое прочтение. С поэзией века двадцатого дело обстоит иначе. Хотя аффектации и позёрство не менее преступны в её отношении, но и мерное, бесстрастное, отстранённое академическое чтение не подходит кате-

горически. Как, например, можно спокойным, чистым напевом читать кровью написанные, душу разрывающие стихи Ивана Савина?

Я отгорел, погаснешь ты.
Мы очень скоро будем правыми
В кругу житейской суеты
С её голгофскими забавами.

Прости. Размыты строки вновь.
Есть у меня смешная заповедь:
Стихи к тебе, как и любовь,
Слезами долгими закапывать...

Когда я читала эти стихи впервые, ком стоял в горле. Он и теперь стоит. И прочти их кто-нибудь с академической отстранённостью, я бы пришла в ярость. Ведь не стихи это, а плач... И не читать их надо, а выстрадать. И в сдержанном чтении в каждом слове боль пульсировать должна, сдавленный крик, задушенный стон, хрип...

Так и читала я на нашем вечере. И безо всякой игры на глаза наворачивались слёзы. Не знаю почему, но ни одно стихотворение наших первейших гениев, ни одна романтическая песня не действовали на меня так, как поэтические рыдания юноши-поэта, пронзительные, как патетическая симфония Чайковского, как «Реквием» Моцарта... Даже петроградский период, совсем иным чувством переполненный, не перебил этого влияния, не заставил ахматовское «Сердце к сердцу не приковано» предпочесть Савину.

Как наяву вижу я тот вечер. Наша маленькая сцена, окутанная шифоновыми занавесами, из складок которых появляются занятые в постановке студенты. В углу граммофон. Крутится пластинка. Играет, конечно, не она, а заранее записанный диск в укрытой от зрительских глаз магнитолы. Шифон колеблется. Сквозь него струится призрачное свечение. Я стою на самом краю сцены, опираясь на спинку стула, поникнув головой. На мне чёрные брюки и чёрная блузка. На плечах – чёрный, воздушный палантин. Долго я думала, в каком образе предстать... Рядиться в мужское – глупо. Что-то «концертное» – ещё глупее. Обыденная повседневная одежда не вписывается в антураж. Наконец, остановилась на самом простом наряде. Блузка и брюки у меня были, а палантин у кого-то одолжила.

Небольшой зал переполнен, но я никого не вижу, кроме одного зрителя – тебя. Ты всё-таки пришёл на мою премьеру. И я счастлива. И читаю – только для тебя, твоего одобрения желая больше, чем одобрения всего этого зала.

И ты – одобряешь! Глазами! Едва уловимым кивком!.. И почему так недолог был наш спектакль?..

Недолог... Но он удался нам на славу. До конца года нас будут приглашать играть его в разных местах. На плёнку, увы, никто не отснял. Но аудиозапись у меня хранится по сей день.

Нашу премьеру ты предложил отметить у тебя. И это было высшее признание из возможных! Впервые я была у тебя дома, в однокомнатной квартирке на Лиговке. Обычное холостяцкое жилище, в меру запущенное, но и не без лоска. Сразу бросалось в глаза обилие аппаратуры с одной стороны и цветов с другой. На закрытом балконе ты разбил целую оранжерею, особое место в которой занимали орхидеи.

– Когда ты находишь время ухаживать за всем этим?

– У меня его, к сожалению, слишком много. А если вдруг случается работа, то прошу соседей приглядеть. Это ведь не домашние животные. С цветами всё проще.

– Но животные лучше. Они дарят нам своё тепло, любят нас...

– Цветы тоже многое дарят. И многое чувствуют. Например, любимый мамин цветок засох за месяц до её смерти, словно почувствовал...

Ты говорил что-то ещё, а я пыталась понять, зачем ты пригласил меня к себе? Я и теперь этого не понимаю. После я бывала у тебя ещё несколько раз, и всё повторялось одинаково: ликёр, лёгкая закуска, светская беседа о сугубо высоких материях... Вернее, твои суждения о них под аккомпанемент моего внимания. Зачем я была тебе нужна? По-видимому, незачем. Я была не нужна тебе, как домашние животные, потому что ты не испытывал потребности ни в тепле, ни в любви. То и другое требует ответного чувства, действия. А на это ты не был способен. Может, оттого и предпочёл холодную красоту цветов, ничего не требующих от тебя?

Но ведь и я не требовала ничего (так, по крайней мере, мне казалось) и какое-то время недурно вписывалась в твою оранжерею. Заглядывавшим на огонёк друзьям ты представлял меня то восходящей звездой питерских подмостков, то поэтессой (в этом случае я читала стихи малоизвестных поэтов, выдавая их за свои), то дочерью именитого московского живописца... Кем только ни была я! Какой только истории ни сочинял ты мне для своих приятелей! Только собой ни разу не позволил быть. Даже именем своим назваться не дал. Или так уж стеснялся меня? Роман с девчонкой-первокурсницей – банально! А банальности ты не мог допустить. Нужно было блюсти стиль... Но ведь наши отношения и романом-то нельзя было назвать...

Каждый раз, приходя к тебе, я ожидала хоть какого-то проявления чувства, шага. Но ничего не происходило. Твои друзья, перед которыми я разыгрывала нужный тебе спектакль, расточали мне комплименты, что доставляло тебе известное удовлетворение, но сам ты ни разу не сказал мне ласкового слова, сохраняя дистанцию. Но, вот, однажды...

– Серафима, я должен тебе кое-что сообщить.

– Я слушаю.

– Мы должны прекратить наши игры.

– Почему?

– Потому что они порождают ненужные нам обоим слухи.

Слухи? Ну, да. Разумеется. Но не всё ли мне равно? Что, собственно, такого, если бы они были правдой? Мораль нашего общества далеко ушла от морали настоящей. Скорее, теперь бросят камень в ту, о ком слухов нет.

– Послушай, Серафима, что ты, собственно говоря, хочешь?

– А разве ты так этого и не понял?

Разумеется, ты понял. И слепой бы понял. Но зачем-то кружил, упорно не желая высказаться прямо.

– Я должен сказать тебе, Серафима, что между нами ничего не может быть. Ты прекрасный человек, одарённый, но пойми: я вижу в тебе Незнакомку, вижу Сонечку, вижу... да хоть бы Татьяну Ларину! Но женщину не вижу. Ты для меня явление природы, некий образ, своеобразное произведение искусства... Не обижайся. Я хочу, чтобы ты поняла это.

– С моей сестрой ты не был столь предупредителен.

– Твоя сестра не явление и не образ. К тому же у вас с ней слишком разные запросы. Тебе ведь не пошлый роман нужен, а совсем иные отношения.

– А с Шурки довольно было и пошлого романа?

– Спроси об этом у неё. К чему вообще говорить о ней? Это пошло, в конце концов. Я не вульгарный соблазнитель и твою сестру не обольщал. Она получила то, чего хотела. В конце концов, я мужчина.

– Гусар, не берущий денег, – не удерживаюсь я от шпильки, впервые приходя в себя от целый год продолжавшегося наваждения.

– Не ожидал от тебя такой пошлости!

Ещё за неделю до этого разговора в институте прошёл слухок о твоей скорой женитьбе. Когда шепнули о том и мне, у меня было такое чувство, словно грудь пронзили раскалённым

металлическим прутом. Невыразимая боль! Интересно, приходилось ли тебе испытывать нечто хоть отдалённо похожее?

Ты укорил меня в пошлости. Справедливо. Но пошлость была не в шпильке, а в том, как изводила я себя, мучительно представляя тебя с той, другой, неведомой мне женщиной. Это её ты поведёшь под руку в ЗАГС. Ей будешь улыбаться, говорить ласковые слова, её целовать... Это она будет гладить твоё лицо и волосы, обнимать тебя. Сколько бы отдала я за право быть на её месте! Целую жизнь за один год! Мне бы следовало гнать прочь эти мучительные видения, но я не гнала, более того, лелеяла с каким-то мазохизмом.

– А в своей будущей жене ты видишь женщину?

Мой вопрос застаёт тебя врасплох. Неужто ты был столь наивен, что предполагал, будто сплетня ещё не обежала все коридоры нашего славного ВУЗа?

– Растрепали уже...

– Ты не ответил.

– Нет, не вижу.

– А кого же тогда? – искренно удивляюсь я.

– Соратницу. Она из нашей сферы, из влиятельной семьи... Вместе мы сможем свернуть горы!

Ах, вот оно что... Что ж, выходит, пошлость свойственна не только мне, ибо брак для карьеры – это именно она, ничто иное. И поражённая этим открытием, всё более просыпаясь, я пускаю в ход ещё одну шпильку:

– Скажи проще. Ты видишь в ней тягловую силу. Лошадь, которая втянет на олимп золотую колесницу твоей славы.

– А ты не так беззащитна и неотмирна, как мне казалось.

И это тоже была правда. Целый год в чужом городе, в общаге, на голодном пайке даже самое неотмирное существо научит азам самозащиты.

– Жаль мне вас обоих.

– Почему?

– А ты не понимаешь? Должен понимать. Ты же художник. На лжи счастья не построить.

– Что ж, в таком случае, желаю тебе построить оное на правде!

И построю! – не высказала, но подумала я. И ещё долго, топая в разбитых сапогах по промозглой улице, повторяла, как мантру. Построю, непременно построю. Тебе назло, чтобы ты понял. Теперь вспоминаю и удивляюсь, в каком же помрачении находилась. Ведь и на ум не пришло, что счастье назло построить нельзя ровно так же, как и на лжи.

До окончания курса оставалось недолго, но я уже поняла – больше в ЛГИТМиКе мне не учиться. Ничего глупее не было, нежели выбирать профессию с одной целью – быть ближе к предмету обожания. Пропала цель, и разом оказалась не нужна она – профессия, к которой не было у меня ни таланта, ни призвания, ни влечения.

По мере осознания глубины разбитого корыта, у которого я осталась, голова моя постепенно яснила. Всё же не столь обезумела я, чтобы с горя наломать ещё больше дров, чем наломала уже. Стержень, заложенный в детстве, оказался крепок, и на нём болталось моё растрёпанное существо, не повергаясь в прах.

Наступило время моего прощания с Петербургом. Его в отличие от полусна предшествующих месяцев помню с особой остротой. Несколько дней я бродила по улицам старого города, вбирая, запоминая атмосферу. Заглянула на Мойку и на квартиру Достоевского. Побывала у дома Валерия Агафонова, в знаменитой парадной, где люди собирались слушать его песни... Снова является ощущение: Питер – город дорогих теней. Теней тех, кто ушёл, и даже тех, кто ещё жив. Моя тень тоже останется в его лабиринтах-улицах вместе с частичкой моей души.

Последнее петербургское впечатление – камерный вечер русской поэзии, организованный для блокадников. Вначале никто из выступавших не производил впечатления. Но, вот,

раздался голос... Красивый, бархатный, звучный. Этим голосом говорил Ихтиандр и зарубежные актёры. А теперь голос читал Пушкина... Пушкина, которого некогда воплотил его обладатель на сцене Александринки. Гениально воплотил, как рассказывали... Кинематограф остался к нему безучастен, если не считать режиссёра Василия Левина, подарившего ему единственную большую роль – профессора Аронакса в «Капитане Немо». Юрий Родионов – так звали этого тонкого, хрупкого артиста с печально-мечтательным взглядом. Теперь он был уже стар. А к тому же одинок и болен. Он вдохновенно читал Пушкина, а сам не слышал собственного голоса, так как потерял слух. Может быть, от этого некая особенно драматическая нота пронизывала всё его выступление.

Не скрою, на тот вечер я пришла лишь по одной причине – знала, что на нём будет Родионов, которого дотоле видела однажды на аналогичном мероприятии и в тот раз была глубоко тронута его чтением и – ещё больше – тем, как трудно живёт этот забытый всеми актёр. И, несмотря ни на что, держится с таким редким достоинством – не подумаешь, глядя на него, что остаётся за пределами сцены...

Денег перед отъездом у меня оставалось только на речную прогулку, на железнодорожный билет да на обед. Обедом пришлось пожертвовать. К голоду я успела привыкнуть, а, вот, если бы не подарила цветов александринскому Пушкину, не простила бы себе. И, вот, дарю. Со словами благодарности, которых он не слышит, но понимает по губам...

Счастье – это свет благодарности в глазах человека, для которого нам удалось сделать что-то доброе. Пусть даже самую малость – лишь бы малость эта была ко времени.

Юрия Родионова уже нет среди нас. Как нет и Игоря Дмитриева. И ещё многих, многих, многих... И каждый уход оставляет чувство пустоты. Даже если человек не был знаком, не был особенно дорог. Даже если и вовсе был неприятен по каким-то мировоззренческим расхождениям. Все эти люди, поколение, уходящее последние годы, имели *свои*, неповторимые лица и голоса, составляли эпоху, были её частицами, хранили память о ней, к которой, увы, далеко не всегда успели мы прибегнуть. Память они уносят с собой. И атмосферу. И оттого возникает чувство оголённости, сиротства.

Особый род горечи – по тем, кому так хотелось, а не достало времени просто пожать руку. Есть человек, и ты знаешь, что случись встретиться с ним, непременно «узнали» бы друг друга, поняли, нашли общий язык. Много раз представляешь ты, какой могла бы быть встреча, что бы сказал ты. Но, вот, не успелось. И напрасно звать растворяющиеся вдали тени. И недосказанность повисает тоскливым грузом на и без того отягощённом сердце.

А ещё горше – не успеть помочь... Вот, уходит человек, некогда известный, а затем забытый. Его уход заставляет вспомнить о нём. И СМИ наперебой сообщают, какой был выдающийся талант, и какая горькая досталась ему доля. Как провёл последние годы в забвении, как бедствовал, как болел... И маячат в экранах его благополучные «друзья», вечные плакальщики – сокрушаются о том же: такой талант был, так много бы мог ещё, а такая судьба! Не знаю как кто, а я органически не могу видеть этих излишних. Так и хочется крикнуть: где ж вы, сукины дети, были всё то время, пока талант, который вы «оплакиваете», погибал в крошечной нищете и не менее крошечном забвении? Что же вы не протянули ему руки, когда он ещё пытался вырваться их той бездны, куда его столкнула жизнь? Почему не пришли? Не позвонили? Почему хотя бы не сказали всех тех слов, что расточаете теперь, тогда, когда тот, кому они адресованы, был ещё жив и нуждался в них, нуждался в ободрении и теплоте человеческой не менее, а, может, и более, чем в помощи материальной? Но ни той, ни другой не оказали ему, отвернувшись. Попросту довершили то, что начала жизнь. *Добыли равнодушием*. Судьба, говорите? А что такое – судьба? Частью – то, как калечим мы сами по глупости и гордыни Божий замысел о себе. Частью – то, как калечат нашу жизнь другие... Поданная вовремя рука, сказанное вовремя слово, раздавшийся вовремя звонок – и, быть может, человек бы прожил дольше. Просто потому, что чувствовал бы себя кому-то нужным. Но помогать живым –

накладное дело. Лицемерно оплакивать мёртвых – проще и спокойнее. Убить равнодушием, а после с благочинной миной поскорбеть (а попутно и покопаться в оставшемся белье) перед объективом – вечное занятие наших плакальщиков. Видеть и слышать это невыносимо.

Самое главное в жизни – успеть вовремя подать руку тому, кто готов сорваться в пропасть. Самое страшное – опоздать в этом. Лучше стократ показаться в смешном и нелепом виде, нежели опоздать хотя бы раз. «Бог поможет!» – самая лицемерная отговорка, потому что Бог помогает (действует) через людей. Так же как и сила противоположная. Мы всего лишь проводники на этой земле, но в нашей воле выбрать, проводниками чего быть – тьмы или света.

Все эти аксиомы кристаллизовались в моём растрёпанном сознании в последний петроградский день, когда, прежде чем отправиться на вокзал, я несколько часов бороздила на ветхой посудине особенно полюбившиеся мне каналы. Других пассажиров не было, и никто не отвлекал меня от моих размышлений. Мерное покачивание волн успокаивало и способствовало приведению в элементарный порядок мыслей и чувств. Прохладный ветер отрезвлял, отгонял прочь навязчивые миражи. Дома... Мосты... Шпиль Адмиралтейства... Мрачноватый силуэт Петропавловки... Спас-на-Крови... Мысленно я прощаюсь со всеми местами, ставшими мне дорогими ещё задолго до петроградского периода. Прощаясь с ними, я прощаюсь и с тобой, и с этим странным временем, с собственной оставляемой здесь тенью. Я переворачиваю страницу, затворяю дверь и, сходя на пристань, чувствую, наконец, что готова переступить порог новой жизни, которой суждено день спустя начаться в моём родном городе.

Глава 4. «На баррикадах»

Москвы я не видела дольше двух лет. Ничего в обличии её за это время серьёзным образом не переменялось. Разве что машин и строек стало ещё больше, а зелёных насаждений меньше. Ещё меньше изменился наш двор. Те же тополя, та же запущенность, те же старухи на лавочке – кажущиеся вечными. Детей, правда, совсем не видно. Раньше было больше...

В самом доме этажом ниже появился новый сосед. Всё про всех знающая тётя Клава поведала мне, что он – сын Ирины Степановны. Прежде жил у жены, но с нею развёлся (надо думать, выгнала его – чудён больно) и после развода перебрался к матери, которая вот уже второй год лежит в параличе и полуумии. Зовут нового соседа Юрием Николаевичем. Где трудится, чем живёт – не понять. Но вроде не запойный, пьяным его не видали. Может, втихаря один горькую пьёт? Не поймёшь его! С одной стороны, человек вроде культурный, здороваётся, а с другой – людей сторонится, не поговоришь с ним, не расспросишь. Может, больной он? Или того – с головой не всё благополучно?

Должно быть, не раз перемывали наши старицы косточки бедному Юрию Николаевичу. Мне же показался он просто очень усталым, не обласканным жизнью человеком, которому всего лишь не хочется, чтобы к нему лезли в душу.

Мне этого не хотелось также, и я с трудом находила слова для разговоров с соседками, с трудом придавала лицу любезное выражение, с трудом улыбалась. Всё было то же: они, стены, звуки, запахи... Другой стала лишь я, и оттого мною владело странное, непонятное и неприятное чувство: словно бы я переместилась в другое измерение, перенеслась в собственное прошлое и теперь разглядываю его со стороны, прикидываю на себя, как одежду, из которой давно выросла. И сердце щемит от собственной чужеродности тому, что было моей жизнью совсем недавно.

Музей! – такова была первая моя мысль, когда я переступила порог своей квартиры. Музей... А я в нём – живой экспонат, не иначе. Вот оно! Найдено слово! Образ, натура – всё это не то! А – *экспонат*. И, значит, жизни не будет... Потому что в ней не осталось ничего, кроме прошлого, ставшего чужим, кроме музейных стен...

А всё-таки жить надо. И первым делом я иду продавать бабушкину брошь в ближайший ломбард. Ведь я приехала домой без копейки в самом прямом смысле слова, и хотя бы первые дни мне нужно на что-то существовать. Далее следует уборка квартиры, расклейка объявлений о частных уроках и... принос в дом маленького мурлычущего комочка. Я всегда хотела иметь кошку или собаку, но бабушка была против. Теперь никакого особого хотения у меня нет в силу полного безразличия ко всему, но есть уверенность – в доме должно быть хоть какое-то живое существо, а не только портреты и фотографии.

С фотографии на меня смотрит бабушка. В её глазах – укор. И справедливый! Её внучка должна была поступить в престижный институт, окончить его с красным дипломом, иметь хорошую работу. А кто же я? Недоучившаяся актрисулька? Лицо без определённых занятий... Пустышка. Конечно, на иняз и теперь не поздно поступать. Языки я помню в совершенстве. Но я не хочу. Не вижу смысла. На хлеб я заработаю и так, для расширения кругозора есть пугающее количество книг, а амбиций я лишена напрочь. Посему по боку все инязы и прочие приличные заведения!

Надо сказать, что «кусочек хлеба» я обрела вскорости, благодаря частным урокам, на которые и надеялась. А годом позже обрелось и ещё одно дело, в то время казавшееся мне страшно важным, дело, вытянувшее меня из моего душевно-коматозного состояния.

«Всю свою нерастраченную женскую энергию Алевтина Васильевна тратила...» Ровно, как и героине «Зигзага удачи», мне ничего не осталось, как употребить эту самую энергию на общественные нужды.

Так уж случилось, что одна из моих учениц оказалась дочерью активного деятеля известной в ту пору политической партии национал-консервативного толка. Партия эта возникла лишь недавно, но уже обрела широкую поддержку и известность, готовилась к боям и победам. Готовность эта, правда, не помешает лидерам этой организации после первой же победы с завидным аппетитом пожрать друг друга. Из всех боёв основным для них станет битва между собой – за кресла – на радость политическим противникам... В сущности, один этот факт уже достаточно свидетельствовал, что ничего путного из нового партийного образования не выйдет. Но хотелось верить в лучшее. И хотелось верить (смешно сказать) – *людям*. Словам. Таким правильным! Таким честным!

Сейчас мне странно и смешно вспоминать о том, сколько переживаний было у меня связано с тогдашними партийными страстями... Григорий Максимович, папа моей подопечной, напару с женой воспитывали во мне русский национал-патриотизм посредством пространных бесед за чаем и снабжением меня соответствующей литературой. Семена падали на благодатную почву. Моя опустошённая душа отчаянно жаждала смысла и дела. И даже более того – *служения*. И, вот, я уже была включена в общую работу. На недавно купленном компьютере я набивала заметки, активно «сражалась» на интернет-пространстве, участвовала в акциях, расклеивала листовки...

Григорий Максимович умел найти нужные слова и тон. Человек весьма приятной наружности, с лёгким налётом барства, с мягким, вкрадчивым голосом – он легко располагал к себе всякого. Несколько раз он подвозил меня до дома. Помню, первая мысль моя была, когда садилась в его машину: не может у русского националиста быть такого автомобиля. Ведь это не автомобиль, а мечта. В таком комфортабельном салоне, пропахшем одеколоном (тоже недешёвым) хозяина, можно жить! Но это несоответствие я спустила на тормозах. В конце концов, повезло человеку найти хорошую работу – и слава Богу.

Нет, если говорить честно, а не умно рассуждать постфактум, то ни об одном тогдашнем шаге я не жалею. Хотя «дело» оказалось очередным призраком, но многому научило меня, а в тот момент дало необходимый живительный импульс. А если порассуждать... Сколько же наивности было тогда! Сколько чистых стремлений и надежд! Победа на выборах ощущалась личным триумфом, последовавшие распри – личным стыдом... Все новости отслеживались, как нечто важнейшее, выпады оппонентов принимались, как стрелы, в собственный адрес пущенные.

Намертво включившись в обретенное дело, отдыха я не знала. Но и усталости – тоже. Я исправно ходила на все митинги: не только из чувства долга, но и из любопытства. Мне было интересно изучать народ. А лучше – фотографировать, снимать на камеру. Но было и другое. На массовых мероприятиях человек в той или иной степени перестаёт быть собой, подчиняясь общей волне, заряжаясь общей энергетикой, выпадая из круга обыденности. Энергия массы затягивает, электризует, даёт некий допинг. Можно представить, как же должна действовать она на тех, кто оказывается в центре, впереди, кто фиксирует её на себе – на лидерах. Человек, ощутивший вкус к трибуне, к почитанию своей персоны, к иллюзии собственной исторической значимости, редко может соскочить с этой иглы. Ему необходима подзарядка, как доза наркоману. Он должен подтверждать свой статус действующего политика в собственных глазах. И в этой психологической зависимости кроется опаснейший микроб, разлагающий человека, превращающий его нередко в пустого фигляра и позёра.

Рядовым активистам, разумеется, проще. Но и им, затынутым в митинговую стихию, трудно бывает вырваться из неё. Кто-то скажет: стадное чувство. Нет, не так. Чувство локтя. Чувство братства. Чувство единства. Пусть обманное, но оно было. Когда собираются сотни, а

то и тысячи людей с одним вектором мышления, с одним праведным гневом, с одним ритмом сердечным, то чудится уже целая армия, могучая сила, и мы – часть её, а не хилые одиночки. Это ощущение сплочённости, смычки в цепь почти нерушимую, взаимоподдержки – дорогого стоило.

Помню митинг вьюжным февральским днём. Мороз, ветер – хороший хозяин собаку не выгонит. Но нам нипочём! Пусть свирепее дует – закалимся только! На трибуне пламенные речи – в защиту народа от грабительства власти! В обличение этой самой власти, «с которой пути наши разошлись раз и навсегда»! На это из толпы единодушное – «ура». Драматический момент! И кажется, что, действительно, недолго кремлёвским башням стоять, что за нами сила, за нами Россия и народ русский, и ещё чуть-чуть – и мы непременно победим, потому что только две силы и есть в России: мы и они. И если они сильны дубинками ОМОНа, то мы – *правдой*.

На проверку окажется иначе. *Они* – действительно, были. И *Россия* была. Но не было *нас*... Пройдёт совсем немного времени, и вся наша партия разделится на немереное число осколков, ненавидящих друг друга больше, чем общих врагов, вступающих в сомнительные альянсы, двурушничавших или же выпадающих в маргинальный «астрал» балаганного типа... Те, кто клялись стоять до конца и не пожалеть жизни, удобно устроятся в тёплых креслах разной высоты и станут «служить», отрабатывая солидную пайку. И когда в очередной раз являться на экране хомячья физиономия бывшего «вождя», до сих пор не вышедшего из прежней роли, так и хочется полюбопытствовать: «Что, есть такая профессия – Родину продавать?» Продаёт... И не слово на табличке, а нашу единственную Родину, которую опять – «пролузгали, пропилили, проплевали».

Перелистывая в памяти страницы моей «политической деятельности», я всё пытаюсь понять причины тотальной недоброкачества нашего патриотического движения. Глупость, продажность, непомерное честолюбие – список выходит длинным, но я остановлюсь лишь на некоторых причинах.

Ложная цель неизбежно оборачивается ложным результатом. Какова же цель наших вождей? «Любите искусство в себе, а не себя в искусстве». Известная формула, не правда ли? Для русского патриота она должна звучать так: «Любите Россию в себе, а не себя в России». Увы, наши вожди следовали формуле обратной. Россия была у них лишь фоном, декорацией для любви к себе. Россия сама по себе была вторична, а важны они – на фоне России.

Что нам за дело, станет ли процветать Россия, если при этом мы не будем на первых ролях? Если не мы будем «спасителями»? Да провалиться бы ей! А вот, если всё-таки мы... И не образ грядущей России видится славолюбивому взору, но единственно свой, солнцеликий – в порфире да со скипетром. Или уж с аксельбантами при троне. Все, решительно все метят в «спасители». Спасают Церковь. Спасают Россию. Спасают русский народ. Доспасались до того, что скоро помину не останется от спасаемого.

Но ведь и народ (или, справедливее сказать, публика) одержима «спасительством». Не спасением собственных душ, но – душ ближних, России, мира, наконец. Публика идёт туда, куда ведут её, идёт за кричалками, а не за программами, за витиями, а не за умами. Идёт, раздваиваясь, а то и расстраиваясь. В 91-м году публика пожелала сохранить СССР. Но она же проголосовала за демократов, желавших его развала. Через восемь лет та же самая публика с патриотами во главе проголосовала против Ельцина и его приспешников – за его преемника, продвигаемого наиболее одиозными из них. Ещё через двенадцать лет она же проголосовала против «Перестройки-2» и развала России – за того, кто сделал всё для этого развала, уничтожил обороноспособность страны и, «взойдя на престол», тут же и запустил ту самую «Перестройку-2». Тут уже не раскол. Не смута. А... шизофрения в особо тяжёлой форме.

Итак, *проспорили, продали, проспасали*... Россию...

Писать хронику патриотического движения последних лет – дело неблагодарное. К тому же, не могу претендовать на объективность изложения, ибо и теперь не остыло в памяти тогдашнее. Но нескольких характерных зарисовок не привести не могу.

Первым пошатнувшим мою веру в патриотов эпизодом стала моя кратковременная работа в недрах одной уважаемой редакции, куда устроил меня Григорий Максимович. За дело я, как водится, взялась с жаром. Логика моя была проста: есть редакция, есть печатный орган, есть книжная лавка – что нужно ещё, чтобы продвигать своих? Не непременно идейных собратьев и не прямую родню, а попросту – *таланты русские!* Сколько их, бриллиантов не замеченных, нами, как свиньями последними, походя, в навоз втоптанно! Так дать же, наконец, выход им! Чтобы засияли самородки-самоцветы русским душам, в сумерках плутающих, маяками! О, таких самородков немало было у меня на примете! Да одних бы напечатать, а про других написать – чтобы знали их, и знали, что и в наши дни, под гнётом давящим можно созидать, творить, создавать...

Но, вот, чудо чудесное – любой мой порыв в этом направлении наталкивался на железобетонную стену, прикрытую пуховой периной елейных улыбок и распахнутых объятий. Учитывая пристрастие главреда к стихосложению, я ещё худо-бедно понимала отторжение лучших образцов современной русской поэзии. Не один плохой поэт не потерпит в своей вотчине поэта хорошего. Это практически аксиома. Но как быть с остальным? Потребовалось время, чтобы до меня дошло: чужим здесь не ходить. А чужие суть все, в ком насторожённое ухо Главного и камарильи угадывало нечто отличное от себя, нечто не вписывающееся в трафарет, выпадающее из их общности. Это раньше Некрасовы и Белинские радостно отмечали явление «нового Гоголя». Это раньше для журнала было счастье – найти талант, первым открыть его. Ныне не то. Ныне «новые Гоголи» не нужны. Всё же я наивно полагала, что удастся поддерживать хотя бы в доску «своих» – то бишь идейно близких. И себя, и креатур своих я поначалу полагала именно таковыми для редакционного начальства – «своими». Я ещё не знала, что мы не «свои», но матёрое начальство опытным глазом просекло мгновенно нашу чужеродность.

Позже, когда узнаю о различных неблагоприятных делах, проворачивавшихся под чинной вывеской, и о многолетней связи Главного с известными органами, то пойму, почему и саму меня, и других идентифицировали в редакции, как не «своих». Мы не принадлежали системе, а внесистемные явления всегда кажутся опаснее, нежели даже представители инородных систем. Принцип «Русский, помоги русскому!» оставался лозунгом для митинговых ораторов, что не мешало главреду сотоварищи пользоваться славой первых патриотов...

Главный и теперь ею пользуется. И недавно молодой парень, узнав, что я когда-то сотрудничала в его вотчине, посмотрел на меня с разом проснувшимся уважением и с восторгом выдал:

– Как вам повезло! Настоящий русский мужик! Побольше бы таких!

Я не стала огорчать юношу тем, что не видела ни настоящего, ни русского, ни мужика. А только средней руки актёра, застывшего в однажды заученной позе с ассортиментом заученных пафосных фраз-хлопушек. Таких у нас немало. Потому так и живём.

А принцип, на митингах оглашаемый, не работал не только в журнальных кругах. Вспоминается мне одно мероприятие, по форме нечто среднее между съездом и дружеским чаепитием. Собравшиеся были, что редко бывает, как будто все свои в доску. Даже удивительно! Судили-рядили об истории русской, о судьбе российской, клеймили власть нынешнюю и минувшую – в общем, вели самую что ни на есть приятную беседу. Вот, взял слово средних лет дядька, которого я видела впервые, но неплохо знала по «виртуалу», всегда сходясь с ним буквально по всем вопросам. Виртуальная кличка у дядьки – Архивариус. Так и зовём его, хотя знаем ФИО. Но Архивариус – привычнее.

Ах, как он говорит! Помилуй Бог! И про большевиков, и про Кобу-душегубца, и про нынешних... И про то, как необходимо возвращение памяти, традиционных культурных цен-

ностей, восстановление национального самосознания. И цитатами по памяти сыплет – из Ильина и Тихомирова, и даже Солженицына, которого в дружной компании нашей многие до сих пор по советской неистребимой закваске почитают вражиной. Не речь – песня! Вот бы каких людей да в лидеры!

Следующей говорить мне. Я заранее подготовилась. Тема у меня – своя. А именно – помощь русским людям, попавшим в разного рода тяжёлые ситуации. К тому времени я достаточно плотно занималась ею, сотрудничая в одной благотворительной организации, о чём расскажу позже. Я говорила о том, что это ненормально, когда беда стигматизирует человека, отталкивает от него. Когда он вместо помощи встречает отторжение, презрение, насмешку и осуждение. Если споткнулся человек, так надо же руку подать ему, а не в спину подталкивать. Что мы пока не можем сменить власть, изменить законы, но помочь-то ближним своим – мы в состоянии! И от этой помощи, взаимовыручки, взаимоподдержки – разве не станет мир хоть чуточку лучше?

Ещё по ходу монолога, я замечаю скучающее выражение на многих лицах. Им явно неинтересно слушать о чужих бедах, в которых они совершенно не желают вообразить себя. Не отсюда ли такое подлое пренебрежение к миллионам замученных в лагерях, к уничтоженным крестьянам? Зато у нас стройки великие были и бомба атомная, а люди – щепки, мусор. Из наших же, из соратников, из националистов русских сколько доказывали мне историческую необходимость и целесообразность... уничтожения энного количества собственного народа. И упрекали досадливо:

– Всё-то вы о частностях печётесь! Нужно учиться широко и по-государственному мыслить!

– Люди не частности. А прежде чем по-государственному чужими шкурами распоряжаться, будьте добры влезть в них сами. Когда вас с вашими семьями выгонят из дома и сошлют за полярный круг, я соглашусь принять к сведению ваши соображения относительно щепок. Если вы таких мер к себе не желаете, так и не смейте оправдывать в отношении других, не обращайтесь их кровь на свои головы.

Увы, мои слова, равно как и слова всегда поддерживающего меня Архивариуса, звучат для распорядителей чужих шкур пустым звуком. Они, мыслящие «по-государственному», готовы жертвовать народом во имя государства. Стоит ли удивляться тому, что скоро появятся националисты с обратным вектором мышления – готовые уничтожить государство во имя народа? Так и закурилась незаметно новая война – народа с государством... И победителей в ней не будет, а одна лишь гибель.

Но я отвлеклась от темы. Желаящие продолжить просвещённую беседу о предметах более высоких и умственных, коллеги, кажется, уже сердиты на меня – за рассказы о каких-то там несчастеньких. Но всё же терпят. Некоторые даже изображают сочувствие. Но ни один человек не вызывается помочь хоть чем-то. Это коробит меня больше всего, так как я точно знаю, что среди присутствующих нет ни одного бедствующего в материальном плане человека. Но все они делают вид, словно к ним всё говоримое не имеет ни малейшего касательства. Они и без того правильны и праведны, и совесть их чиста и спокойна.

Отсутствие всякой реакции на предложение конкретного, нужного дела выбивает меня из колеи. Я привыкла к равнодушию богатых людей, чиновников и прочей братии. Но здесь? Всё сплошь *хорошие русские люди*. Большею частью, в отличие от меня ещё и воцерковлённые. И ничего! Им досадно, пожалуй, что вообще речь о деле зашла. Это нарушение негласных правил. Говорить надо об идеях, о чём-то более или менее абстрактном, о прошлом или о будущем – о том, одним словом, что сейчас не требует *действия*.

Я чувствую себя не то медведем на балу, не то пророком на пиру во время чумы. Я читаю в глазах собравшихся недовольство тем, что нарушаю их покой, светскость их беседы. Тут бы и остановиться мне, но не могу и впечатываю с разгона:

– Поставьте перед человеком дорогущий автомобиль и больного ребёнка, которому нужна дорогая операция. Груда железа и человеческая жизнь. Цена одна. И что же важнее? Большинство выбирает груду железа...

И тут голос подаёт мудрый, милейший Архивариус:

– А с какой стати должно быть иначе? Больного ребёнка должно лечить государство! Если оно этого не делает, то есть родители! Пусть ищут средства, пусть берут заложников, пусть власть эту свергают! Я-то здесь причём? Почему я должен ходить разутым, а свои кровные, потом заработанные, отдавать неизвестно кому?

Почему этот человек обличал злодеяния большевиков? Почему восхищался творчеством Солженицына и Достоевского? Что он понял в их и философов наших трудах? Видел ли он когда-нибудь глаза умирающих детей? Терял ли когда-нибудь дорогих людей?

Сказать, что я потрясена, не сказать ничего. В глазах потемнело. Сил отвечать не осталось. Больше всего хочется огреть вчерашнего единоверца чем-нибудь тяжёлым. Чехов был наивен, когда писал о молоточке. Или просто во времена Чехова кожа ещё не достигла толщины шкуры бронтозавра... Молоточек не поможет. А только кулак. Или дубинка. Палица! Правду говорят, что добро должно быть с кулаками. Непременно так! Кулаки нужны, чтобы понуждать быть человеками тех, кто забыл, что это значит. К добру понуждать. Увещевания и патетические речи не помогут – они обесценены до предела шарлатанами и вызывают лишь насмешку. Если иначе не доходит, то дубина и кулак становятся жизненно необходимы. В душеспасительных целях.

Выдерживаю паузу, чтобы не выгвоздить всё в душе всколыхнувшееся, и отвечаю сдержанно (сдержанность – лучший приём против агрессии, хамства и иных подобных проявлений):

– Разумеется, вы ничего не должны. И речь не идёт, чтобы кому-то ходить голым, а о том, что выше нормальных потребностей. Это, во-первых. Во-вторых, то, что мы делаем для других, мы делаем для себя, для своей души. И наконец... – тут гнев мой всё-таки прорывается: – Когда, не дай Бог, кто-то из ваших близких окажется в положении больных, которых должно лечить государство, я посмотрю, как вы пойдёте и свергните власть.

– Жертвуют пусть те, что наворовали немерено! А я своим горбом зарабатываю! Так что с моей душой всё благополучно!

Человек, который однажды осознал себя исправным, праведным, неизбежно обращается жестокосердным эгоистом. Это происходит оттого, что, осознав себя таковым, он начинает ощущать себя мериллом и судией, смотреть на других свысока, как на падших, низших. Для них не остаётся у него ни сострадания, ни снисхождения, а одна лишь палка. В определённых запущенных случаях люди такой формации к тому же полагают своим священным долгом бороться с чужими грехами, исправлять, спасать других. Тип такого «праведника» выведен Достоевским в противнике старца Зосимы – отце Ферапонте. Ныне подобный типаж не столь уж редко встречается среди верующих (если так можно выразиться) людей. В них, надо заметить, особенно бывает развит миссионерский задор. Скольких внешних они отвратили от Бога, знает лишь Он сам.

Для полноты картины, стоит добавить, что агрессивная реакция коллеги не вызвала неприятия (видимого, во всяком случае) ни в ком из присутствовавших.

Последнее время на патриотические собрания я приходила уже безо всякой надежды обнаружить там что-то жизнеспособное. К отдельным людям я продолжала и продолжаю питать самые добрые и уважительные чувства, но общей картины это не меняет. Ходила же на указанные мероприятия я опять-таки из некоторого естествоиспытательского интереса – в целях изучения той духовной болезни, которая поразила наш патриотический лагерь, сделав его априори не способным решительно ни к чему, кроме пустых словопрений, превратив в

некий клуб, в тусовку, варящуюся в собственном соку, в которой, подобно бурьяну, вызревают совершенно дикие идеи.

Ещё одна характерная зарисовка. Очередное заседание «клуба». Ораторы по очереди выступают с докладами, прочие нетерпеливо ёрзают – в соседней комнате уже накрыт фуршет. Говорили о важнейшем: о монархическом принципе и праве наследования трона, о необходимости созыва собора русских лучших людей (лучшие – само собой, мы, с этой идеей выступающие), о борьбе с проклятыми либералами, о не менее проклятых девяностых, о том, сколь много дала нам советская власть – практически правопреемница исторической царской, начиная с незабвенного товарища Сталина... Тут, правда, мнения разделились, и собравшимся так и не удалось прийти к консенсусу. Какой-то священник, больше похожий на боксёра, едва не разругался с давно помешавшимся писателем, был ли незабвенный только великим вождём или всё-таки святым. Две группы монархистов недобро косились друг на друга, так и не договорившись, кого возводить на престол. Первые не желали признавать царями заграничных самозванцев, вторые не без основания подозревали первых, что они желают избрать не престол не абстрактного лучшего русского, а собственного «вождя». Кое-кто, впрочем, готов был объявить царём существующего президента, дабы, наконец, заменить дурацкое импортное слово на хорошее русское. Не хватало для полноты картины ещё, пожалуй, «государя Павла Александровича», от которого я лично имела честь получить однажды е-мэйл... Конечно, слышались и более разумные речи. Об историческом пути России, например. Как водится, с обширным цитированием Ильина и других основоположников. Растекался на тему исторической роли Православия «отличный русский мужик» с неизменно елейным выражением породистого, но неумного лица. Все эти годы сей муж повторяет одни и те же слова, одни и те же когда-то вызубренные цитаты из нечитанных книг, не ведая подчас смысла и значения их – но ему внимают, ему верят, ибо – сладко говорит, а книг тех и сами не прочли и не поняли.

Наконец, на кафедре не поднимается, а вскакивает сухопарый, жилистый мужик – кавторанг в отставке. И тут-то случается очередной скандал в благородном семействе. Вместо того, чтобы чин чином потолочь воду в ступе в отведённые четверть часа, кавторанг начинает говорить страшные крамольные вещи. Увы, не могу процитировать его взволнованной, а оттого немного сбивчивой речи дословно. Смысл же её сводился к следующему: Родина наши гибнет, остались считанные годы, мы уже за чертой, но вместо того, чтобы делать что-то, ведём пустые, никчёмные разговоры, закрываем глаза на очевидное, предаём Россию умолчанием, забалтыванием главного.

Он ещё говорит, а лица многих присутствующих уже выражают по выбору: раздражение или насмешку. Недалеко от меня один патриот интересуется у другого, когда этот бузатёр уймётся, и, наконец, можно будет перейти к основной части – сиречь фуршету. О, кое-кто бы с удовольствием стащил кавторанга с трибуны! Совсем не нужны здесь его смутительные речи.

– Вы понимаете, господа, что мы вот-вот потеряем Россию?!

На этот вскрик-стон ответом – молчание. И насмешливые выражения лиц, снисходительные (что взять с больного?) полу-улыбочки, пренебрежительные взмахи рук и бессовестный перешёпот.

– Зачем же так драматизировать? Россия-матушка не мы, она – вечна.

– Вы закончили? Между прочим, вы вдвое превысили регламент.

– Господа, на этом объявляю перерыв...

Счастье! Грохот стульев такой – словно школьников отпустили на перемену. В соседнем помещении уже разливают. Там беседа задушевнее пойдёт! И ни одна душа к сбитому с толку кавторангу не подошла. Наперекор им подхожу и жму руку. Хочется высказать что-нибудь зубодробительное, но поздно: патриоты разбежались, и мы остались вдвоём.

– Ни черта не поняли! – со смесью зла и горечи говорит кавторанг.

И он прав. Глаза их зашорены, а уши заложены ватой. У них своё измерение, которое не совпадает с нашим и, самое скверное, не совпадает с измерением, в коем существует Россия, которую они год за годом спасают, став профессионалами в этом деле. Подобно учёным котам, они ходят «по цепи кругом», поют однообразные песни, рассказывают набившие оскомину сказки. Каждое слово их можно предугадать почти всегда, ибо траектория цепи неизменна.

Да не заподозрят меня в симпатиях к «вражескому лагерю». Там – всё то же. Иные песни и сказки, иная траектория – но столь же неизменная. Оттого, возможно, лагеря эти органически не могут существовать сами по себе, один без другого. Даже представить себе невозможно такого. Чем будут заниматься они тогда? С кем сражаться, не жалея красноречия и чернил? Кого клеймить? На кого строчить доносы? На кого сваливать неудачи нашего бытия? От кого, наконец, спасать матушку-Россию или прогрессивное человечество? Два полюса необходимы друг другу для осмысленности собственного существования. А в выигрыше окажется тот, кто будет умело балансировать на оси между ними, не допуская их сближения. Что, собственно, и происходит.

Однако, я слишком увлеклась политикой. В сущности, активная моя игра в неё завершилась с кончиной нашей партии, партбилет которой я (слава тебе, Господи!) так и не успела получить. Хотя «исцелиться» до конца не удаётся и по сей день.

Глава 5. Встреча

Надо сказать, что сама политика также не «исцелила» меня от более навязчивой химеры – тебя. В паузах между общественными делами и зарабатыванием на хлеб насущный я следила, насколько могла, за каждым твоим шагом. Твоя новая лента... Твоё интервью... Твой сайт... Знаешь ли ты, что на нём я тайно писала на форуме под вымышленным ником? Однажды, придя с очередного политсоборания и привычно включив телевизор, я akurat попала на твоё интервью. Молоденькая ведущая с глупейшим выражением смазливового личика интересовалась твоими предпочтениями в области женщин.

– Ванесса Редгрейв! – с вдохновлённостью в голосе выдал ты.

Стыдно признаться: не дослушав остальной беседы, я ринулась к компьютеру, и «свет-зеркальце» века 21-го угодливо показало мне твой идеал, изучив который с придирчивым вниманием, я отправилась к зеркалу, дабы сравнить... Вывод мой был неутешителен:

– Ой, непохож, ой, халтура!

Да, где уж нам с нашим «русопятским» анфасом до их европейского профиля... И ведь, что греха таить, вызвал у меня этот вывод печальный вздох.

Каков бы ни был человек, чего бы ни мнил о себе, одно остаётся неизменным – человек не может быть один. Нет, может, конечно. Но одиночество никогда не даст ему полноты, а иллюзия не заменит живых людей, близкого человека. Было у меня две школьных приятельницы, с которыми мы виделись раз в полгода: домохозяйка Катя и менеджер Вероника. Никогда не были мы по-настоящему близки, но общались всегда легко и весело. С Вероникой мы вечно спорили. Это был своеобразный ритуал. Если одна говорила «белое», другая должна была тут же возразить – «чёрное»! При этом мы никогда не ссорились. В сущности, вполне «политические» отношения: спорить обо всём, но при этом дружески закусывать на совместных застольях. В очередную встречу мы не отступили от традиции. Сперва спорили о кино, затем о любви и одиночестве. Умничали, разумеется, вволю. Вероника с жаром доказывала, что только взаимная любовь может быть счастливой. Я утверждала, что любовь – в любом случае, счастье, потому что она обогащает того, кто любит. И аргументировала это тем, что все великие произведения рождены любовью. Причём, большей частью, отнюдь не взаимной.

– Вот, пошлют тебя подальше – тогда поглядим, какие великие произведения ты выдашь, – хмыкнула моя бывалая подруга.

Одиночество мы сравнивали с одинокостью, и я убеждённо доказывала, что это разные вещи. Одиночество – состояние души, образ жизни, выбор. Одиночество – несчастливое стечение обстоятельств.

В общем, всё как в песне:

И двое сошлись не на страх, а на совесть.

Колёса прогнали сон.

Один говорил: «Наша жизнь – это поезд!»

Другой говорил: «Перрон».

Наконец, устав от прений, обратились мы к нашей молчаливой Кате, с которой поспорить не удавалось никому и никогда, ибо она имела редкостный миротворческий дар. Та лишь удивлённо пожала плечами:

– Что же я могу сказать? Я люблю мужа и любима им – что же мне сказать о любви? У меня есть Бог, семья, дети – что же мне сказать об одиночестве?

В тот момент я поняла, что такое счастье. *Счастье – это гармония*. Гармония в отношениях с Богом, с людьми, со всем окружающим, с собой. Наконец, в гармонии заключается высшая красота.

Гармония – лик природы, не тронутый человеком.

Гармония – поэзия Пушкина.

Гармония – музыка Чайковского.

Гармония – семейный очаг...

Дом Кати для меня был образцом гармонии. Она, её муж, их двое малышей. Есть чудное русское слово – *лад*. Именно лад царил в их семье. И им лучилась вся атмосфера дома. Здесь на душе как-то само собой становилось спокойно и ровно.

И я позавидовала этому ладу, особенно остро ощутив пустоту собственного дома и жизни.

Как и во времена бабушки, я часто бродила по Москве, всё отчётливее напоминая мне человека, разбившегося в автокатастрофе. Лицо его изуродовано, но ещё своё. И ещё можно отчасти вернуть ему прежний вид – пусть и не без шрамов. Но берутся за дело молодые горе-эскулапы. Зачем восстанавливать родное лицо? Лучше порезвиться вволю, поупражняться – и сварганить лицо новое. И, вот, начинается кошмар... Конечный итог – лицо Майкла Джексона. Ничего не просто родного, но и вообще человеческого. Отторжение тканей. Проваливающийся нос. Что там ещё? Москва, правда, пока ещё не обратилась в «Майкла Джексона», но если измывательство над её обликом будет продолжаться, то такой результат неминуем.

Иногда я приходила к нашему дому, в бесчисленный раз представляя себе, как жили в нём мои предки, тоскуя о том, чего не застала, не видела, не знала. Всех людей в той или иной мере мучит ностальгия по детству и юности. Но есть такие, что испытывают это чувство в отношении детства и юности века, времен, которых не застали. К таким принадлежу и я.

Всё чаще заглядывалась я на резвящихся во дворах детей, и в душе вызревало одно большое, подавляющее все прочие желание: желание ребёнка. Желание сына. И здесь не только и не столько материнский инстинкт был, но и другое: потребность в наследнике. Семнадцать лет покойница-бабушка наполняла мою голову и душу всем, что несла сама. Неужто для того, чтобы со мной и кануло всё это? Не может быть! Должно её наследство быть передано кому-то, как эстафета, а не лежать грузом на моей душе.

Однажды утром я возвращалась с Дорогомиловского рынка, куда привыкла ходить за продуктами. Сумки были не тяжелы, но смутно знакомый голос всё же окликнул меня сзади:

– Позвольте вам помочь?

До сих пор этот голос говорил мне лишь «Здравствуйте!», когда случалось встречаться на площадке второго этажа.

– Спасибо, Юрий Николаевич, но мне вовсе не тяжело! – всегдашний мой ответ на предложение помощи – даже если на самом деле очень тяжело.

– Но, может, всё-таки позвольте?

При свете дня мой сосед выглядит иначе, чем в тусклом свете подъезда. Даже моложе как будто. Сколько же ему? При том освещении можно было и пятьдесят дать. А так – лет сорок. Лицо немного странное... Но я не сразу понимаю, в чём заключена странность. А просто – нетипично оно. Сотни людей мимо идут – ни одного схожего. Ни красотой, которой объективно нет, ни особенностью черт, а чем-то глубоко внутренним. Духом. Мимо скучной вереницей текут лица нашего времени. А передо мной – лицо другой эпохи. Пролистни старые альбомы, групповые снимки художников, поэтов, философов – и непременно встретиться среди них такой или почти такой образ...

Я отдаю Юрию Николаевичу одну из двух сумок:

– Сделайте одолжение!

На немного смущённом, скрыто застенчивом лице – скрытая же радость. Всё-таки лица удивительно много говорят о людях. И много работая с фотографиями, с записями, всегда особенно сосредотачиваясь именно на лицах, я довольно неплохо выучилась читать их. Лицо

же моего соседа оказалось особенно лёгким для прочтения. Оттого, должно быть, что смотрела я в него, как в зеркало...

– А знаете ли, Сима, что было здесь прежде? До войны?

Знаю и очень хорошо, но делаю вид, что ни сном, ни духом. Моё «неведение» воодушевляет моего собеседника, и он принимается рассказывать о тех незапамятных временах, когда где-то окрест стояли цыгане, дававшие представления для публики (позже их вышлют из Москвы), когда Москва-река ещё не была окольцована каменными берегами, а вокруг кучковались деревянные домики, из труб которых тянулись к небу струйки печного дыма. А в домиках этих царили простота и уют от белых подзоров на комодах и никелированных кроватях, от скрипучих полов, крашенных или натёртых мастикой, верёвочных ковриков... Возле домиков играли в лапту или в лото, разговаривали до глубокой ночи, пели под гармошку песни. И над всем этим плыл в положенные часы колокольный звон, а по выходным звучала музыка духовых оркестров.

От Дорогомилова рассказ переключивается к бульварам. Яузскому, Покровскому, Страстному... Никитскому и Гоголевскому, полюбившимся влюблённым. К бесчисленным московским переулкам, одни названия которых согревают душу, и их хочется слушать, как музыку, катать во рту, как леденец: Скатерный, Молочный, Хлебный, Плотников, Малый Левшинский, Мансуровский... К загнанным в трубы речушкам Синичке, Серебрянке, Сосенке, Фильке и Хапиловскому пруду, что разливался от Измайлова до самой Яузы...

В какой-то момент я неосторожно вставляю какую-то уточняющую реплику.

Взмах ресниц, укоризненно-огорчённая, смущённая улыбка:

– Так вы знали?..

– Лишь кое-что, – успокаиваю я. – Бабушка в детстве рассказывала.

Кажется, именно в этот момент и случилось *узнавание*. Заблудившиеся в чужом измерении люди – мы не могли обознаться и органично вошли в жизнь друг друга

– И что же она рассказывала вам ещё?

– Многое. Она очень хорошо знала Москву.

– В самом деле?

Мы уже приближаемся к дому, и Юрий Николаевич заметно мнётся, явно желая что-то предложить, но не решаясь. Я же лихорадочно соображаю, как подтолкнуть, боюсь, что так и не решится он – а мне понравилась наша беседа и очень хочется продолжить её.

– Не верите? Я могу доказать!

Моя «провокация» удаётся:

– Тогда предлагаю вам прогулку: вы мне расскажете о своей Москве, а я вам – о своей.

– С удовольствием принимаю ваше предложение! Мне, признаться, давно наскучило гулять в одиночестве. Позвольте ответное предложение? – это уже у самых дверей осеняет меня. – Не откажетесь от чашки чая с кексом? Вы помогли мне дотащить мою поклажу – я буду чувствовать себя неловко, если хотя бы не напою вас чаем.

Предложение моё было принято с радостью, и через четверть часа мы уже сидели в большой комнате и пили мятный чай с кексом, печеньем и прочей снедью, которая оказалась в доме и принесённых сумках.

Ловлю себя на ощущении тихой радости. Как же это хорошо всё-таки: просто сидеть и говорить о том, что любимо и дорого!

Сосед мой – историк. Кандидат наук. Мог бы и докторскую написать да забросил. Много теперь докторов стало... Пишет какие-то учебные пособия, статьи, читает лекции в разных аудиториях, куда приглашают. А, по крупному счёту, неприкаянность выходит, неудельность. Хотя многие ли нынче могут удельностью похвастаться? Одни профессионально недело делают, другие к своему делу не допущены...

– Мне пора идти, Сима... Там, понимаете, мама одна...

В голосе Юрия Николаевича проскальзывает усталость. Усталость печатью лежит и на его худощавом лице.

– А у вас так хорошо здесь... Уютно, тихо...

Хочется предложить остаться, отдохнуть. Но невозможно – мама не может надолго оставаться одна. Мы тепло прощаемся и договариваемся в выходные навестить руины своей Москвы. До выходных ещё целых три дня, и это кажется мне слишком долгим сроком.

В тот день я не стала заниматься срочным переводом, не читала несколько дней назад начатых и уже до середины дочитанных личутинских «Скитальцев», уносящих воображение-душу в некий полубылинный, полусказочный мир, в зачаровывающее сновидение о другой, давней и вместе с тем вечной России. Я лежала на диване и думала. А вернее сказать, скиталась мыслями по пространству, пытаюсь понять себя.

Среди ночи вскочила и принялась лепить пироги – благо тесто слоёное купила аккуратно днём. Кулинарные мои способности оставляли желать много лучшего, но я очень старалась, и в итоге к утру два противня румяных пирожков с грибами, капустой и яблочным вареньем радовали глаз и будили нечеловеческий аппетит своим ароматом. До полудня я пребывала в состоянии метаний, ругая себя на все лады. В самом деле, что ещё за блажь – заявиться к человеку, с которым, считай, день знакомы, с угощением? Сочтёт ещё, чего доброго, что навязываюсь.

Раз уж решилась писать откровенно, то признаюсь: всю жизнь одолевает меня маята – боюсь казаться навязчивой. До такой степени боюсь, что даже хорошо знакомому человеку, бывает, не решаюсь позвонить лишний раз.

Однако, два противня уже стояли на столе и требовали быть съеденными. И я решилась. В конце концов, я-то знаю, что никакой корысти у меня нет, а просто подумалось, что человеку, живущему с тяжело больной матерью, некому приготовить что-то порядочное. Да и не только приготовить, а просто позаботиться. А ведь это так нужно бывает – забота, участие. И что же, не проявлять их из-за предрассудков, неписанных правил хорошего тона? Да и с каких пор забота о ближнем выходит за пределы этих самых правил?

Всё же внутри меня всё вибрировало, когда я этакой Красной шапочкой с пирогами явилась на соседский порог. Прямямлила, пряча глаза:

– Вот... Позвольте угостить вас. Я очень редко занимаюсь готовкой... Для себя, знаете ли, никакой охоты нет. А так ведь и всякую квалификацию можно потерять... Вчера налепила, вот, много, а одной же мне всё это никак...

Искося отваживаюсь взглянуть на Юрия Николаевича. Отлегло от сердца: на лице его читаю выражение благодарности и радости. Почему-то так и чувствовалось, что к нему можно вот так просто прийти, оставив условности. К кому другому – никогда. А к нему – можно. Он – поймёт правильно.

А «по Москве» в ту субботу мы гулять не пошли. Слишком много машин, шума и грохота. Сквозь него к островкам Москвы пробираться – мука мученическая. Моя бы воля, так устроила бы в центре зону заповедную – сугубо пешеходную. И чтобы никакой в ней погани шопо-макдоналдсовского типа. Но куда там! Самая дорогая земля здесь – покупай-налетай!

Стало быть, идти надо туда, где всего этого нет. А Москва исконная-посконная – она же всё равно, прежде островков, в море смердящем тонущих, в наших сердцах и памяти.

Местом нашей первой прогулки стал Донской монастырь, в целости сохранивший, если не считать крайне неуместных раскрашенных танков, свой первозданный облик и атмосферу. Даже торговли никакой не велось здесь. Лишь в стороне от храма продавали свечи, не скверня перезвоном денег святых стен. Затруднюсь сказать, кто победил в нашей «олимпиаде», когда мы рассказывали друг другу всевозможные факты о нашедших на Донском кладбище последний приют более или менее именитых соотечественниках. Полагаю, Юрий Николаевич всё-таки обошёл меня, тем более, что я с самого начала незаметно поддавалась ему.

В свой «музей» я возвращаюсь в томительном состоянии: когда хочется танцевать и плакать одновременно. Танцевать – оттого, что чудо было. И плакать – потому что оно закончилось...

Играет музыка. Это мелодия из польского фильма «Прокажённая». Сам фильм в силу излишней женскости почерка мне в своё время не лёг на душу, но музыка очаровала, подобно тому, как очаровывают фонтаны Петергофа, брызги солнца и радуга после грозы... Я кружусь по комнате, скрестив руки на груди, вызывая явное недоумение расположившейся на серванте кошки.

Музыка заканчивается, я опускаюсь в кресло и в который раз за последнее время пытаюсь понять главное – кто же я? Где моё место? Мой путь? Мои знакомые давно определились с этим. У них – работа, пусть нелюбимая, но постоянная, профессия, семья... У меня нет ничего. И никого. Крыша над головой есть стараниями бабушки. А сама я – что сделала? К чему я и для чего? Поиск естественен для человека, но когда он затягивается на годы – это уже ненормальность. Актёрство – определённо, не моё дело. Политика – тоже. Так что же – моё? Именно моё? Или я просто слишком много хочу от жизни, не довольствуясь стандартами?

В тот вечер я загадала: если Юрий Николаевич сделает мне предложение (мысль эта, между прочим, казалась мне фантастической до абсурда), значит, это судьба. Не может быть игрой случая встреча людей, столь созвучных друг другу и диссонансом выпадающих из авангардной музыки века.

С той субботы наши прогулки стали регулярными. Монастыри, усадьбы, уцелевшие уголки Москвы – мы ничего не обошли своим вниманием, дополняя свою память о невиденном рассказами друг друга. Мы знали, кажется, все лавки, кондитерские, рестораны, мастерские, редакции, некогда бывшие в Москве. Знали всех сколь-либо известных жителей её и места, с ними связанные. Каждый уцелевший дом имел для нас своё лицо и историю.

По московским островкам до сих пор ещё можно почувствовать, что был наш город когда-то, понять его контраст с тем же Питером. Питер – строгая вычурность линий, гранитный холод. Москва – теплота и радушие. Город-призрак и город-жизнь. Жизнь – синоним былой Москвы. И о жизни этой Юрий Николаевич знал, кажется, всё. Много я слышала прежде, но никогда не прерывала его – мне доставляло удовольствие слушать, словно бы рассказывал он мне давно не слышанную, но с детства любимую сказку.

– Люди перестали понимать красоту. Для глаз им нужно что-то яркое, пёстрое, блестящее – чтобы ослепляло. Для слуха – нечто оглушающее... Как то, что называют теперь музыкой да ещё врубают на полную катушку. Слепнуть и оглохнуть – вот, что они хотят... И объяснять что-либо совершенно бесполезно! Для того, чтобы понимать нечто большее, чем животный инстинкт, нужна работа души и разума. А работать ими людям всё более лень. И те, кто пытаются заставить их трудиться, вызывают у них раздражение. Подозрение. На таких смотрят, как на засланцев иной, враждебной цивилизации.

– Может, так оно и есть? – шучу я.

– Возможно...

– Тогда, может, стоит сбежать отсюда? В другую цивилизацию? Или основать её?

– Дело за малым: найти необитаемый остров для основания.

В сущности, мы только тем и занимались, что сбежали в другую цивилизацию. Окружающую населяли воры, политики, эффективные и не очень менеджеры, бизнесмены, брокеры... В нашей – жили Аксаковы, Станиславский, Цветаевы, Васнецовы, Тютчев, Бородин, Вахтангов... Несть числа им – великим Москвичам разных эпох, образовавшим для нас единую среду обитания.

Несколько раз мы бывали в гостях у живых свидетелей нашего общего сна. Глубокие старики, они застали все этапы разрушения Москвы, но вместе с тем и другое – её живое

дыхание, её людей... И сами они – её люди, всем существом своим. В них, как в нетронутых ещё тупичках и переулках, сохранился дух её.

Наши прогулки, чаёвничания и разговоры продолжались месяца два. А затем случилось нечто едва не разрушившее наш странный союз.

Как-то часов в шесть утра меня разбудил пронзительный звонок в дверь. Кое-как прибрав волосы и закутавшись в халат, я побежала открывать, предчувствуя недоброе. На пороге стоял белый, как мел, Юрий Николаевич. Руки его заметно подрагивали.

– Сима, простите...

– Что? Что случилось?

– Там мама... кажется, она умерла...

Юрий Николаевич выглядел совершенно разбитым и растерянным. Растеряна была и я. Но нужно было срочно что-то говорить и делать, разделить груз...

– Вы проходите... Посидите у меня пока... А я к вам...

Никогда не умею найтись, что говорить в таких ситуациях. Любые слова – до тошноты фальшивы и казённы. В отношении себя предпочитаю молчание, но другие молчание могут воспринять иначе... Об этом я не подумала.

Его мать я тогда увидела впервые, уже бездыханную. Как-то сразу стало ясно, что Юрий Николаевич не готов заниматься всем необходимым, не знает, куда обращаться, как и что устраивать. Я знала немногим больше, но делать было нечего: человек пришёл ко мне за помощью – значит, надо помогать, а не рассуждать...

Не стану описывать, как в течение нескольких дней я занималась организацией похорон, попутно приглядывая за Юрием Николаевичем. Честно признаться, я не ждала такой глубокой скорби. Обычно, когда уходит человек, столь долго и тяжело болевший, то ходившие за ним, будь то даже самые близкие люди, бывают настолько вымотаны, что уход воспринимают больше как облегчение, нежели горе. Жестоко, конечно, но такова жизнь.

После всех скорбных мероприятий я собралась, было, немного прибраться в квартире Юрия Николаевича, где царил полнейший хаос. И тут-то мне было высказано с болезненным раздражением:

– Не трогайте здесь ничего, пожалуйста! Времени ещё мало прошло... И вообще... Вы так суетитесь, словно ничего не произошло. А ведь человек ушёл... А вы... Думаете только о внешних предметах, говорите только о том, как и что оформить... Как это всё... тяжело!

Эта отповедь немало задела меня. Хорошие дела! Я взяла на себя все самые тяжкие дела, дабы освободить от них его, слишком подавленного, чтобы ими заниматься, и я же ещё и виновата?

– Простите. Не буду вам мешать. Если понадобится, позовите, – говорю сухо, подавив желание высказать своё недоумение, и ухожу.

Весь оставшийся день я не находила себе места, кляня себя, что ушла. Обижаться на человека, который сказал что-то не то с горя, не подумав – не глупо ли? Нужно было проявить больше доброты и сочувствия, нужно было слова утешения найти... А что сделала я? Бросила человека в тяжёлый момент...

Порывалась пойти к нему, извиниться. Но останавливалась – может, раздражает его моё присутствие? Может, такое излишнее вмешательство вызовет досаду? Несколько раз я на цыпочках спускалась по лестнице, вслушивалась в тишину за его дверью, облегчённо вздыхала, слышав шаги или покашливание. Я искала уважительного повода, чтобы позвонить, но не находила.

На другой день мы столкнулись на лестнице, поздоровались, обменялись вежливыми фразами... Но сухо, как просто соседи. Это было больно: рушилось то, чем я дорожила всего больше в последнее время, и не хватало житейской мудрости остановить...

Внутренне я уже приучала себя к мысли, что очередному миражу не суждено воплотиться. Тягостно это было, но привычная душа не бунтовала.

Но, вот, однажды утром я обнаружила в почтовом ящике конверт, а в нём письмо, выведенное старательным почерком: «Дорогая Сима! Я не могу дольше выносить этой неопределённости. Вы молчите, а мне не хватает духу сказать Вам то, что следовало сказать ещё раньше. Сима, я скучаю по Вам. Вы нужны мне. Согласитесь ли Вы стать моей женой? Простите, если всё это глупо и неуместно... Если так, то просто бросьте это письмо мне в ящик, забудем о нём. Но, пожалуйста, как бы то ни было, давайте встретимся в субботу, как обычно».

Читая эти строки, я чувствовала, как по губам моим разливается широченно-счастливая улыбка. Недолго думая, я сбежала по лестнице и позвонила в квартиру Юрия Николаевича. Он открыл сразу, бледный от волнения, посмотрел вопросительно, но ни слова не произнёс.

Я улыбнулась и спросила шутливым тоном:

– Ну, а где ж мы с вами будем жить? У вас или у меня?

– Так вы... согласны? – голос всё ещё тревожно-недоверчивый, но бледность начинает сходиться на глазах...

– Я же не бросила письма назад...

Жить мы решили у меня, а квартиру Юрия Николаевича после небольшого ремонта сдали. В ЗАГС расписываться не пошли. Странно: даже мысли такой не мелькнуло – пойти в ЗАГС. Позже отец Виктор обвенчает нас, но штампы в паспорта мы не поставили доселе. Да и к чему? Перед Богом мы единое целое, а всё остальное – бюрократическая суета...

Глава 6. Химера

Я опускаю в моём повествовании главу, которая могла бы называться «Счастье». Счастье – материал такой фантастической плотности, что не подлежит разъятию на атомы. Горе – дело иное...

Несколькими страницами выше я обещала подробнее рассказать о благотворительной организации, в которой привелось мне работать. Привела меня в неё неизлечимая от рождения болезнь сына... Я ничего не стану писать о ней в дальнейшем, потому что ворошить в памяти всю эту нескончаемую череду больниц мне тяжело. К тому же болезнь – это не главное в моём сыне. А главное – душа, ум, талант... И его я воспитываю именно с такой установкой: главное, его личность, его внутренний мир, а не какая-то там болезнь, будь она хоть сто раз серьёзна. Нужно не сосредотачиваться на ней, а жить своей жизнью, соблюдая некий договор с нею. Врачи утверждали, что Валька не доживёт и до года. Теперь удивляются... А я знаю точно, мой сын будет жить. И жизнь его будет полной, насколько это возможно. Его внутренняя сила, его невероятная для таких лет целеустремлённость одолеет всё врачебные вердикты.

Люди, не утратившие души (или остатков её), находят для неё много занятий. Кто-то для души играет на музыкальных инструментах, кто-то пишет, кто-то вырезает мебель. Для души ходят в театры и кино, ездят на экскурсии. А есть люди, которые для души занимаются помощью страждущим собратьям, чужому горю помогают – для души. Обычно это свидетельствует о том, что на душе очень тяжело, что лежит на ней кладь собственного горя. Мелкие печали можно рассеять концертами и экскурсиями, но для настоящего горя требуется нечто несоизмеримо большее, не витамины, а комплексная терапия. Подобное исцеляется подобным. Один мудрец советовал: если тебе плохо, пойти и помочь тому, кому хуже – станет легче. В сущности, Евангелие говорит о том же: «несите бремена друг друга» – это не заповедь смирения, а тончайшая психотерапия. За тяжестью бремени чужих меньше ощущается бремя собственное.

Среди нескольких волонтеров, работавших в нашей организации, не было ни одного в земном смысле «благополучного человека». Люди, потерявшие близких, матери больных детей, больные сами – вот, каков был основной контингент. Если остаться наедине с болью, жить ею, сойдёшь с ума. Спасение в таком случае одно – сконцентрироваться на боли чужой. Человек, не узнавший личного несчастья, редко может понять несчастье чужое. Не пережив, нельзя представить...

Часто мы жалуемся на всевозможные мелочи, чувствуем себя несчастными из-за них. И лишь встреча с настоящим горем ставит всё на свои места, выявляя действительно важное и обращая в ничто то, что по глупости важным казалось. Пополнив ряды волонтеров фонда, я поняла это всецело. Когда я слышу по телевизору, что кто-то наложил на себя руки по случаю несчастной любви, или какого-то конфликта, или ещё по каким-то высоким соображениям, то, да простит меня Бог, внутренне ожесточаюсь. Как смеют эти люди возвращать дар Творцу, не ведая настоящего горя? То же касается алкоголиков и наркоманов... «Пустота жизни», видите ли, довела. Вокруг нас – необъятное поле, требующее делателей. Сколько настоящих трагедий происходит на этом поле, скольким людям действительно нужна помощь. И что же? Не этим заполняют пустоту собственной жизни духовные калеки, а заливают горькой. Конечно, и им должно сочувствовать, тому, какое преступление творят они против собственных душ. Но мне того не хватает... При встрече с такими людьми довлеют во мне два чувства: обида за Творца, чей дар так бездарно растрачен, и оскорблённость за тех действительно несчастных, которым некому оказывается помочь.

Первая ступень вочеловечивания – помощь ближнему. Даже глубоко падший человек, однажды встав на этот путь, непременно поднимется из своего провала, воскресит в себе образ

Божий. Я видела такие примеры воочию. Но нужно – *воление*. Если его нет, то внешними усилиями нельзя сделать из расчеловечившегося существа Человека. Можно в какой-то мере вернуть облик, на какое-то время вернуть к жизни, но все труды пойдут прахом, если нет воли. Таких примеров, увы, больше.

Основателем нашего фонда был очень странный человек. Уже пожилой бизнесмен, он потерял дочь, и, оставшись один, пустил все средства на помощь тяжелобольным детям. Он называл себя атеистом, но это неправда. Правда же состояла в том, что Глеб Григорьевич так и не смог простить Богу своего горя и всей своей благотворительностью, каждым мгновением своей страдальческой жизни продолжал спор с Ним. Как-то он с болью сказал, кивнув на группу больных детей во дворе больницы:

– Бог отказался от них, невинных... Но если Он отказался, то я не откажусь. Должен же хоть кто-то помогать им, делать за Него Его работу.

Страшные слова. Мне никогда не приходило в голову, что Бог отказался от моего сына. Если послано испытание, значит, так надо. Для чего-то, о чём Бог знает. Но Глеб Григорьевич не желал мириться с несправедливостью Божия устройства. Кто-то сочтёт, что был он одержим бесовской гордыней, раз говорил такие слова. Но я берусь утверждать, что боли и горя здесь было куда больше, чем гордыни. И боль эта была вызвана именно раздором с Богом, к Которому, на самом деле, рвалась душа этого несчастного человека. Сам он был в ту пору уже болен и знал, что скоро умрёт. Незадолго до смерти он спросил без обычной озлётности, печально:

– Отчего так? Зовёшь Его, зовёшь... А Он не слышит!

– А разве мы слышим, когда Он зовёт нас всякое мгновение? – откликнулась я. – И когда другие люди зовут нас – всегда ли слышим?

Глеб Григорьевич промолчал. Прозрачный, иссохший, как осенний лист, он смотрел вдаль, видя что-то, одному лишь ему доступное.

Мне хочется верить, что перед смертью они всё-таки услышали друг друга, и Господь принял раба Своего Глеба в Свои чертоги, отпустив ему все вольные и невольные грехи за земное страдальчество.

Итак, работа в фонде составляла существенную часть моей жизни, имевшей три составляющие: семью, работу (те же переводы и уроки), обеспечивающую нам троим проживание (Юрий Николаевич не имел постоянной работы, к тому же часто болел) и фонд, мою отдушину...

Однажды нам пришло приглашение на известное телешоу. Выпуск был посвящён нашей теме, и Глеб Григорьевич по телефону велел пойти мне:

– Ты ж у нас артисткой быть собиралась – ты и иди.

Надо ли говорить, что волновалась я до мандража? Юрий Николаевич посмеивался и успокаивал:

– Это совсем нестрашно. Тебя, может, и спросят-то раз-другой! Ответишь и делов! Можно подумать, тема тебе незнакома.

Единственное, что меня утешало: эфир не прямой. А раз так, то можно надеяться, что моё многозначительное мычание просто вырежут...

Как в тумане помню: Останкино, лифт, коридоры с бегающими людьми, наконец, студия... А в студии – *ты*. Больше никого заметить я не успела, окончательно онемев от неожиданности.

Пока заканчивались последние приготовления, я искоса рассматривала тебя. Почти не изменился. Тот же аристократизм, то же изящество, тот же лоск... В костюме нарочитая изысканная небрежность: джинсы, блузка, пиджак, платок... И всё, могу только догадываться, каких денег стоит. В многозапаховом пространстве не различу твоего парфюма... Тот же? Или теперь нечто более дорогое? Знаешь ли, что на улицах, случайно уловив знакомый запах, я каждый раз вздрагивала и озиралась кругом, словно надеясь тебя увидеть?

Программа начинается. На её протяжении я не смотрю в твою сторону, чтобы не разволноваться ещё больше. Не смотрю, даже когда говоришь ты. Говоришь, об ответственности общества... И я вспоминаю пиджак и блузку стоимостью в мой месячный доход... О семейных ценностях... И перед глазами у меня – брошенная тобой Шурка и её не рождённый ребёнок. Как тебе удаётся это? Так проникновенно говорить о том, чего не исполняешь сам? Неужели твоя собственная совесть не тревожит тебя в тот миг, когда ты обличаешь повинных в твоих же грехах?

По окончании передачи ты неожиданно нагнал меня у лифта:

- Сима! Ты что, так бы и ушла, не поздоровавшись? Ведь столько лет не виделись!
- Прости, Лёня, я очень спешу. У меня ребёнок болеет.
- У тебя есть ребёнок?
- У меня есть семья.
- Поздравляю!
- Спасибо!

Твой тон неискренен, но ты зачем-то втискиваешься следом за мной в лифт. Парфюм всё-таки тот же. Привычка пересилила понты...

- Если ты торопишься, то позволь подвезти тебя до дома.
- Я далеко живу.
- Мне безразлично – вечер свободен.

Устав после нескольких часов в душной студии, я не горела желанием давиться в метро в самый час-пик. Я рассудила, что у тебя наверняка хорошая машина, не хуже, чем у Григория Максимовича, а, значит, даже в пробке можно сидеть с максимальным комфортом...

Мои ожидания оправдались. Машина моего бывшего патрона оказалась «запорожцем» в сравнении с твоей. Вот, только сидела я в ней, как на иголках...

- А ты изменилась. Совсем не та девочка, которую я фотографировал в Питере...
- Теперь бы не стал?
- Стал бы. И с ещё большим удовольствием. Может, встретимся как-нибудь?
- Не могу. Я же сказала, у меня ребёнок болеет.
- Я очень удивился, увидев тебя сегодня.
- Я тоже.
- И ты тоже рада?
- А что, должна?
- Лично я рад. Скажи, ты давно работаешь в фонде?

Фонд – это безобидно. О фонде я рассказываю охотно и подробно. Ты слушаешь внимательно, задумчиво киваешь, а под конец предлагаешь провести творческий вечер для детей патронируемой нами больницы. Ты сговоришь кое-кого из знакомых, и вы приедете к нам. Не без щедрых подарков, само собой.

Эта идея, естественно, воодушевила меня. Для больных детей, для сирот – такие праздники на вес золота. Известные артисты к ним приедут! Автографы дадут, сфотографируются... А если ещё и с подарками!.. Я согласилась сразу, и мы договорились созвониться в ближайшие дни, чтобы всё обсудить.

Так ты вторично вошёл в мою жизнь, которую я наивно полагала устоявшейся. Я уверена была, что семья, глубочайшее уважение и привязанность к мужу, болезнь сына, по крайней мере, бесповоротно исцелили меня от моей химеры. Но не тут-то было. Стоило тебе появиться, и микроб ожил вновь...

Через неделю устроили детский праздник. Все наши были очень довольны моим столь удачным знакомством. Да и на подарки ты не поскупился. В тот день я хотела остаться дома, но Глеб Григорьевич настоял на моём присутствии:

- Не придёт она! Твой ведь дружок старается! Так что будь добра.

Я изо всех сил старалась держаться подальше от тебя, но не выходило. Ты всё время оказывался рядом.

– Сима, мне кажется, или ты меня избегаешь?

С чего мне было избегать тебя? Стыдно и признаться...

– Тогда садись рядом.

И, вот, за столом мы рядом, и ты что-то рассказываешь с обворожительной улыбкой, очаровывая наших сотрудниц. И, самое главное, смотришь на меня... Глаза и голос... И зачем нужно колдовство, если есть глупое сердце, не умеющее повиноваться разуму?

По окончании обеда ты снова предлагаешь меня подвезти. За окном ливень, и я не отказываюсь, потому что не взяла зонт... Дождь всегда влияет на мои нервы, будоражит, пробивает электрическим током. В дождь и грозу мне неизменно хочется идти куда-то, бежать, совершать безумства...

В тот день я едва не поддаюсь этому желанию. В машине ты впервые поцеловал меня, и я поняла, что больше встречаться нам нельзя, иначе рухнет то, чем я больше всего дорожу в этой жизни, потому что остановиться я уже не смогу, дойду до точки.

Именно тем вечером я решила, что нужно непременно найти отца Виктора, чтобы именно он, а не кто-либо ещё обвенчал нас с Юрием Николаевичем. Однако, решение это, окончательно вызревшее бессонной ночью, осуществится много позже...

А на другой день мне позвонили с телевидения и предложили работу. Догадаться бы мне сразу, что то была твоя подача, но увы... Я лишь обрадовалась неожиданному заработку. Переводов в последнее время было мало, все деньги от уроков шли на лечение сына, а на жизнь оставались квартирные. А если ещё и уроков станет не хватать? Юрий Николаевич болел и хандрил. О том, чтобы требовать «трудовую копейку» с него, я и не помышляла. Я слишком дорожила им, слишком привязана была, чтобы заставлять его заниматься чем-то, что ему тяжело и неприятно, что могло бы подорвать его и без того шаткое здоровье. Для двух людей на свете я готова была без звука умереть мучительной смертью – для сына и мужа. А потому то, что всю нелёгкую ношу бытия несу на себе я, воспринималось мной, как естественный порядок вещей.

На новой работе я освоилась быстро. Моей задачей было делать репортажи на «профильные» (фондовские) темы для одной московской передачи. Поскольку в нашей группе я оказалась единственным не пьющим человеком, то карьера моя была обеспечена, ибо, когда требовалось доделать чужую не законченную по пьяной лавочке работу, то я была незаменима.

В самые первые дни мы с оператором Денисом поехали делать сюжет о бедственном положении одной семьи. Женщина родила ребёнка с тяжёлой формой ДЦП, лишилась мужа и, наконец, стала инвалидом, попав в автоаварию. А недавно паралич разбил её мать, на которой до той поры держался дом. Мне не внове подобная трагедия, но всё-таки сердце сжимается, когда мы переступаем порог. И отчего-то вспоминается Глеб Григорьевич с его отчаянным бунтом... Когда видишь такое, искушение бунта неизменно закрадывается в душу.

Я стала разговаривать с матерью, а Денис – настраивать камеру. И вдруг он потребовал:

– Вы ребёнка-то, ребёнка разверните! Так чтобы ножки его скрюченные видны были. И всё, всё! Мне же кадр нужен!

После съёмки я, потрясённая, с негодованием набросилась на оператора:

– Ты обалдел совсем, что ли?! Как такие вещи говорить можно?! Кадр ему нужен! А на людей тебе – наплевать и растереть?!

– Не ори, – флегматично ответил Денис. – Между прочим одного молодого режиссёра в молодости позвали снимать расстрел. Выстроили на рассвете приговорённых, автоматы вскинули. А режиссёр и говорит: «А нельзя ли подвинуть их? Освещение не то!» И подвинули, и расстреляли, и заснял их довольный режиссёр.

– И что?

– Ничего. Карьеру сделал!

Я закашлялась и смогла лишь высказаться в том смысле, что у него, Дениса, так всё равно не получится. На что наш оператор только ухмыльнулся:

– А это, мать, время покажет!

Такой цинизм немало поразил меня. Как же так можно? Чужую трагедию воспринимать, как материал для собственного искусства? Это же сумасшедшие... Или это профессиональное повреждение души? Противно...

Мало-помалу я всё же втянулась в утомительный и увлекательный процесс работы на телевидении. Одно выбивало из колеи: встречи с тобой. Ты как будто приезжал в Останкино по своим делам, но каждый раз так «удачно», что мы непременно встречались.

– Позволишь угостить тебя чашечкой кофе в ресторане?

– Я спешу!

– Все спешат, но на кофе времени хватает всем!

И я сдаюсь, и иду пить с тобой кофе...

– Позволишь подвезти тебя?

– Нет, спасибо.

– Почему ты боишься меня? Ведь мы были друзьями!

Друзьями... Сомневаюсь, что ты понимаешь значение этого слова. Но мне стыдно признаться, что боюсь (себя), и я снова иду у тебя на поводу.

Дома подозрительный взгляд Юрия Николаевича:

– От тебя дорогим табаком и одеколоном пахнет...

– Сотрудник подвёз...

– В прошлый раз пахло также. И в позапрошлый...

Я ни в чём не виновата перед ним. Но одновременно виновата. Виновата желанием. Виновата тем, что он страдает. Это, последнее, я читаю в его светлых, беспокойных глазах. Обнимаю его со всей нежностью, на которую способна, шепчу мягко:

– Потому что сотрудник один и тот же. Если хочешь, я больше не стану пользоваться его добротой и буду, как все люди, ездить на метро.

– Нет-нет... Я ведь просто так спросил...

Дома я стараюсь быть весёлой и жизнерадостной. Сын, слава Богу, берёт пример с меня, и вдвоём мы стараемся рассеять ипохондрию нашего папы. На работе сосредотачиваюсь, собираюсь в кулак. Но везде и всегда, где-то глубоко внутри точит меня разбуженный микроб, не даёт покоя.

В честь очередного дня рождения нашей передачи руководство решило устроить банкет для сотрудников и друзей. Целый вечер я уговаривала Юрия Николаевича пойти со мной на это мероприятие. Муж отбивался, как мог:

– Зачем я туда пойду, скажи на милость? Я никого там не знаю! Чужие люди, чужая сфера... Я буду чувствовать себя неуместно. К тому же для вашей компании я стар. Буду смотреть там, как... как... Глупо, одним словом! И не бывал я на таких мероприятиях уже давным-давно! Ещё, небось, дресс-код у вас там!

– Во-первых, до старости тебе ещё далеко. А, во-вторых, никаких кодов, всё добровольно.

– Всё равно! Уволь меня от этого. Сходи одна. А лучше и сама не ходи. Скоротаем тихий вечер вместе...

– Я не могу не пойти, это моя работа. Но одной идти мне не хочется. Там все будут с мужьями-жёнами, друзьями-подругами... Ну, я ведь никогда раньше не просила тебя! Почему ты не хочешь хоть раз пойти мне навстречу?

Нет, мне вовсе не хочется вспоминать, что работаю я за двоих. Что тяну на себе и работу, и дом. Ничего этого я вспоминать не хочу, потому что не вижу в этом ничего особенного. Но в такие моменты всколыхивается недоброе чувство... Ведь в самом деле ни о чём не прошу

никогда, а сама стараюсь уберечь, окружить заботой, идти навстречу. Но можно же хотя бы иногда и мне приятное сделать?

Хотя, конечно, ему трудно согласиться... Он не привык к такому обществу. А природная застенчивость и ранимость заставляет ревниво оберегать свой внутренний мир. Если не хочешь, чтобы плюнули в душу, лучше держать её на запоре – мой муж отлично усвоил этот принцип, но и как же трудно ему было следовать оному при его изначальной открытости, порывистости, тяге к людям... За это сокровенное, бережливо хранимое от сторонних, я и полюбила моего мужа. И жалела, и старалась быть ему опорой. Но иногда так хотелось, чтобы пожалели меня, чтобы за силой и весёлостью, которую я так старательно напускала не себя, услышан был и мой задавленный, заглушённый стон...

Юрия Николаевича я всё-таки уговорила пойти со мной. Но лучше бы мне этого не делать...

Вечеринка была уже в разгаре, когда мы пришли. И ты, как «друг нашей передачи», выступал в роли тамады. Едва мы появились, ты тотчас подошёл, галантно приветствовал нас...

– Это твой провожалыщик? – спросил муж после знакомства.

– Он самый. Как ты узнал?

– Запах... Должен сказать тебе, что твой дружок слишком злоупотребляет парфюмом. Да и вообще... Стрикулист...

– Он режиссёр.

– Можно подумать, что одно исключает другое.

– Быть можно дельным человеком и думать...

– Не тот случай. Для таких, как он, краса собственных ногтей, весомее чужой жизни.

Странно, что ты с ним общаешься. Он что, работает на канале?

– Не то, что работает, а...

– Ясно, ошивается.

– Ты не в духе сегодня.

– Я же говорил, что тебе лучше пойти одной.

Конечно. Лучше. Всегда и везде – одной...

В это время ты произносишь высокопарный тост в мою честь и объявляешь, что я получаю премию зрительских симпатий. Ко мне подбегают несколько сотрудников, поздравляют, влекут на сцену. Я сбивчиво благодарю за такую неожиданность...

Огромный, как шар, букет лилий... Я знаю точно: они твои. Сразу вспоминаются орхидеи в твоей питерской квартире. Интересно, ты и теперь увлечён цветоводством? Во всяком случае, букет дивный.

Шампанское... С алкоголем у меня скверные отношения – вино сразу ударяет мне в голову.

Лица, смех, блики света, музыка... Словно нарочно кружат меня в хороводе, заговаривают, и я вовлекаюсь в общее веселье. Можно сколь угодно презирать «светские мероприятия», но они обладают поганенькой особенностью завлекать. Да ещё когда тебя только что провозгласили надеждой журналистики! Сулят в будущем ТЭФИ! Поздравляют... И понимаешь ты остатком сознания, что всё это бесстыдно натянуто, ни на йоту не искренне. Понимаешь, что это своеобразный ритуал, что уже завтра поздравляющие сейчас не преминут лягнуть тебя. Понимаешь, что всё это не настоящее. Но понимание это тонет до полной рассеянности и желания, чтобы это было правдой, в опьянённости успехом, в горделивом самолюбовании...

Музыка сменяется, и ты приглашаешь меня на танец. Сладчайшая грёза моей юности! Не изжитая, как оказывается, к моему испугу.

– Ты прекрасна и очень талантлива. Камера тебя любит. У тебя большое будущее на телевидении!

Странно, почему в такие моменты даже самая грубая и пошлая лесть принимается за правду в то время, как обычно ты прекрасно знаешь о себе совсем иное? Безумие... Опыанённость... Головокружение...

Внезапно что-то тревожит мой рассеянный взгляд. Я не понимаю, что. И вдруг спохватываюсь: нет Юрия Николаевича! Дурман сходит, как от ледяного душа, и я становлюсь собой. Едва бросив короткое «прости», я оставляю тебе посреди танца и опрометью выбегаю из помещения, озираясь по сторонам в поисках мужа. Его нигде нет.

В волнении я выскочила на улицу и, наконец, увидела его, уходящего прочь. Догнала, преградила путь:

– Юра! Я чуть с ума не сошла... Зачем ты ушёл?

– Затем, что я там лишний, – Юрий Николаевич болезненно поморщился. – Я не могу находиться среди этих людей! И на тебя среди них мне тяжело смотреть! Потому что ты становишься на них похожа. Тебе весело с ними, это твой мир, а я только помеха... Возвращайся, Сима. Тебя там ждут!

– Без тебя я не вернусь.

– Почему? Признайся хоть себе самой: я не нужен тебе... там!

– Ты мне нужен везде.

– Только не надо этих... жертв!

На улице уже стемнело, людей мало. Я пытаюсь сообразить, видно ли нас из окон моим коллегам. Мне жаль мужа, выглядящего глубоко расстроенным и изнервлённым, и досадно от глупости происходящего.

– Послушай, я не люблю этих мероприятий, и мне они не нужны. Ходить на них впредь я не собираюсь. Но пойми, я не могла не пойти на это! Первый год моей работы у них – как я могла нарушить правила с первого шага? С какой стати? Я хотела, чтобы ты был со мной здесь, потому что мне тяжело всё время быть одной. Мне нужна была твоя поддержка. Тебе не нравится моя работа, я знаю. Но переводами я не заработаю столько, сколько здесь. А для Вальки нужны деньги...

– Которых я не могу заработать, добавь ещё.

– Перестань! Причём здесь это! Тебе не понравилась сегодняшнее веселье, это дурацкое награждение... Но разве я его придумала? Этот танец... Да, я могла отказаться от него. Каюсь, не сообразила сразу, показалось неудобным отказать человеку, только что меня чествовавшему – да ещё и на людях. Неужели тебе так трудно было немного подождать? Я ведь бросилась за тобой, потеряв голову, даже проститься ни с кем не успела.

– Могла бы не бросаться...

– Я волновалась за тебя! А теперь мне будут перемывать кости, зубоскалить на мой счёт... Этого ты хотел?

– Прости, – Юрий Николаевич виновато опустил голову. – Я не подумал. Просто уж очень тошно стало, не выдержал. Возвращайся, Сима. Ты должна быть там. Скажешь, что у меня голова разболелась, и я уехал. А я заберу у Кати Вальку, и мы будем ждать тебя.

– Одна я не пойду. Вместе пришли, вместе и должны уйти. Хочешь, чтобы все здесь потешались, что мой муж столь ревнив, что сбежал, увидев, что жена танцует с другим?

– А если мы вернёмся вдвоём, то что ты им скажешь?

– Что у тебя заболела голова, и ты вышел на воздух, но не сразу нашёл обратную дорогу в наших лабиринтах. Только умоляю тебя, подыграй мне хоть самую малость!..

Мы всё-таки вернулись вместе, и до конца вечера я не отходила от мужа, опасаясь твоего общества. Разумеется, без заглазного зубоскальства со стороны наших не обошлось. Такое показное внимание к мужу – смех да и только!

На другой день ты снова ждал меня после работы у телецентра. От предложения подвезти я на этот раз категорически отказалась, но на этом дело не кончилось.

– Мне нужно поговорить с тобой!

– По работе?

– Ты отлично знаешь, что нет!

Из-за запруженной машинами ленты шоссе уютно выглядывал розовый пряник шереметевской усадьбы. Я предлагаю пойти в парк и поговорить там. Музей в этот час уже закрыт, поэтому народа никого, и можно разговаривать спокойно.

– Я хотел тебе сказать, что развожусь с женой.

– Поздравляю. Почему ты решил сообщить эту новость мне?

– Не прикидывайся дурочкой!

Мне совсем не хочется объяснений. Вид старой усадьбы, церкви, зеркальной глади пруда, мелодичный перешёпот листвы умиротворяет. Хочется просто побродить здесь, а лучше углубиться в зеленеющий позади усадьбы массив Ботанического сада. Надо же, как, оказывается, давно я не была в лесу. Опасно давно. Нельзя так надолго отрываться от своей естественной среды, а о себе я знаю точно: моя естественная среда – лес.

– Я не собираюсь разводиться с мужем.

– Только не надо сейчас плагиата на манер: «Но я другому отдана и буду век ему верна»! Ты ведь любила меня!

– Любила. Но я ведь всего лишь образ... Или что там ещё?

– Теперь всё иначе!

– С чего бы?

– Мстишь? Отыгрываешься за старое?

– За что мне отыгрываться? Ты был честен со мной.

– Вот именно.

– Я не оставляю своего мужа.

– Только не говори, что любишь его!

– Почему нет?

– Насколько лет он тебя старше?

– Пошло с твоей стороны. Какое это имеет значение?

– Никакого. Он, кажется, безработный?

– Временно.

– Ты не дурочка и прекрасно знаешь, что нет ничего более вечного, чем временное. Проблема твоего мужа не во внешних обстоятельствах, а в нём самом! У него цели нет! Желаний! Воли! У него же... глаза погасшие! Разочарованный человек, который ни к чему не способен!

– А у тебя есть цель?

– Будет, если ты будешь рядом. Вместе мы горы свернём! Телевидение, кино – всё будет в наших руках!

Не стану лгать, искус был велик. Быть рядом с тобой, развернуться в полную силу на телевидении, к которому я успела почувствовать вкус... Другая жизнь! О которой только мечтать можно! И всего один шаг, одно слово до неё... Одна переступленная жизнь...

– Неужели ты думаешь, что я оставлю ради тебя мужа и сына?

– Кто говорит о сыне? Твоему сыну я стану лучшим отцом, чем родной. У него будет всё. Лучшие врачи, поездки за границу, учителя.

И этот искус совсем немал. Я же знаю, что лечение за границей могло бы очень помочь Вальке...

– Нельзя построить счастье на чужом горе, на лжи.

– Мы и так будем несчастливы! Все! Ты любишь меня, твой муж будет чувствовать это. Это же и есть – ложь!

– Мой муж и сын будут счастливы, – с вдруг явившейся решимостью отрезаю я.

– А ты? А я?

– А мы будем платить по счетам.

– За что, позволь спросить?

– За гордость... – тихо отвечаю я, глядя на мелкую рябь пруда и вспоминая величавое течение Волги. – Я – за то, что думала прожить умнее других. Ты – за то, что счёл ниже своего достоинства связывать судьбу с девчонкой без имени и положения.

– Безумие какое-то! Одумайся, Сима! Зачем калечить себе жизнь? Я же люблю тебя!

– Довольно. Я не уйду от мужа и не свяжу жизнь с тобой каким бы то ни было образом.

И впредь я очень прошу тебя не караулить меня и не звонить.

– Ты просто боишься! Боишься взять судьбу в свои руки! Это малодушие!

– Пусть так. Но я всё решила. И иного ты от меня не услышишь.

Запели утешно церковные колокола, возвещая окончание службы. Добрый знак, – подумалось с облегчением. Значит, всё правильно, и главное, удержаться, не сорваться, не изменить сделанному выбору.

Глава 7. Метания

«Я не понимаю, что со мной происходит. С недавних пор всё отчётливее чувствую: внутри меня живёт кто-то ещё. Двойник... Так, наверное, сходят с ума. Начинают спорить с собой, раздваиваться, слышать голоса...

Но нет, нет. Это не сумасшествие. Тут другое. Тут измена своей природе, никогда не проходящая бесследно.

Что была я на заре своей? Барышня века девятнадцатого... Не от мира сего... В таком состоянии ещё можно худо-бедно существовать в затворе, оградясь от сообщения с враждебной средой. Но если ты хочешь что-то делать, если отвечаешь за других, если, наконец, на руках у тебя больной ребёнок, которого надо ставить на ноги...

Видит Бог, не по своему произволу я стала играть по правилам мира сего. Но потому что жизнь заставила. Жизнь свою мы вольны калечить, как нам заблагорассудится, но не чужие...

Раньше я думала, как это люди могут лгать и лицемерить? Те же журналисты? Смотрела я на них, мелькающих в экране, как на людей второго сорта, с презрением смотрела. И была убеждена, что я ни за что и никогда... не погрешу... против...

На проверку оказалось, что ничем я не лучше. Впрямую не лгу (пока?..), зато лукавлю на каждом шагу, извиваюсь змеей, лицемерю. О, я научилась этому вполне! И жёсткости, и грубости, и «современному разговорному языку» – всему научилась.

Не правы были те, кто утверждал, будто актёрских способностей у меня нет. И я была не права, когда так думала. Для того, чтобы выжить в мире сём, мне нужна была маска. Дома я снимала её, а за его стенами надевала, привыкая с каждым общаться на его языке, в его манере.

Поначалу это умение меня радовало. Но с некоторых пор я стала замечать, что маска – больше не маска. Она впиталась в меня, сделалась моим вторым (а скоро и первым?..) «я». Не раз и не два с испугом ловила себя на том, что уже здесь, дома, мой тон то и дело становится жёстким и резким, а в речь вторгаются не мои слова, что в отношении людей, которым я хочу дарить лишь заботу и нежность, стало прорываться раздражение и чёрствость. Боже, ты свидетель, я никогда не желала чем-то обидеть Юрия Николаевича! Почему же я уже несколько раз срывалась и ругалась с ним? Что происходит со мной? Та «я» всё назойливее врывается в мою жизнь, выдавливает из души то, что было в ней от меня настоящей...

Сегодня к нам приходил сантехник. Пьяный, разумеется. Больше ломал, чем чинил. Должно быть, даже портреты и иконы покраснели в соседней комнате от тех выражений, в которых я пояснила неудовлетворённость работой. Зато человек всё понял. И сделал, как надо. Когда выпроводила его, подумала: «Хорошо, что Юры с Валеи нет дома!» И тут же полыхнуло недоброе: а не Юре ли следовало заниматься всем этим? Почему я должна выворачивать наизнанку своё «я», а не он? Недоброе, правда, быстро отступила. Своего мужа я люблю таким, какой он есть, мягким и неотмирным человеком, и не хочу, чтобы он стал иным. Значит, остаётся корёжить себя... Одна беда, на пользу семье это не идёт. Вот уже Юра и упрекает меня за чрезмерную силу, не подобающую женщине, за недостаток ласки. Но если я позволю себе снова стать слабой, как мы будем жить?..

Боже мой, что мне делать? Этот двойник неминуемо задавит то лучшее, что было во мне. Я не хочу превращаться в свою маску, но и расстаться с ней не могу! Что же делать? Живу, как в страшной сказке... А ведь неплохой сюжет для таковой – человек, превращающийся в надетую сдуру маску... Вот, только каков финал?»

Это – страница из моего прошлогоднего дневника. Как ты можешь понять, на душе моей царил смута, едва ли меньшая, чем в нашем дорогом Отечестве. Ты же занимался тем, что

углублял обе. Вторую – по мере сил – своим творчеством и вдруг проснувшейся общественной активностью.

Последний акт твоего творчества я была принуждена оценить, будучи, с одной стороны официально приглашённой, а с другой – официально посланной на премьеру твоего нового фильма, заранее объявленного шедевром с глубочайшим экклезиологическим подтекстом.

Честно сказать, я остерегалась смотреть твои новые «шедевры», так как в них давно не осталось ранней свежести и новизны, не осталось и самого тебя, талантливого, самобытного (так, по крайней мере, я считала) новатора, а остался шаблон, калька. И подленькое, пошленькое желание, прошу прощения за нелитературное слово, «выпендриться», сфокусничать и тем заработать очки. Из твоих картин ушла душа, *атмосфера*. А кино – это, в первую очередь, атмосфера. Без неё даже самая хорошая работа окажется проходной, статичной, неживой. Атмосфера ушла первой... Затем стало уходить всё остальное. Сценарий никогда не был твоим коньком, и не следовало бы тебе заниматься драматургией самостоятельно. Но режиссура! Но построение кадра! Но лица! Как удалось тебе растерять даже это? Опуститься от *картин* до «картинок»? До разукрашенных видео-комиксов с медийными лицами, напрочь лишёнными физиономий?

Впрочем, всё это вместе взятое – норма современного «кино». Шаблоны и фокусы. Кривляние вместо актёрской игры. В давние времена актёров пренебрежительно называли фиглярам. В XX веке они стали небожителями... Их звание – почётным. Что ж, среди старой плеяды актёров, во всяком случае, были люди, на самом деле, просвещённые и образованные. Большинство первых МХАТовцев и вахтанговцев имели за плечами серьёзное образование и слушать Мельпомене пошли уже по зрелому выбору. Последующие поколения мельчали, как и всё в нашей жизни, и вот выродились до того, что актёрами их и назвать совестно в память о великих... Только что фиглярами.

Один вечно юный, как маленькая собачка, фигляр недавно изъяснял в интервью, что, сыграв Петрушу Верховенского, понял, что «Бесы» – это вестерн. Этот вывод он сделал на основе сценария, ибо сам роман, «конечно», не читал. Дурак, отягощённый всем налётом современной суетной и глубоко пошлой жизни, не знает, что налёт этот надо оставлять за кадром. Нет, он тащит этот шлейф в кадр, и мы видим не персонажа, а вечного Васю Пупкина, играющего самого себя. В лучшем случае, программу первого курса театрального института – «я в предлагаемых обстоятельствах».

Другой фигляр, феноменально бездарно изобразивший Ивана Карамазова (книги он, «конечно», тоже не читал), с видом до смешного важным пояснил с экрана, что театральные школы – это пережиток прошлого, а теперь есть только актёр-универсал, которому «подвластно всё»! И не ведает фигляр, что «подвластно всё» лишь редчайшим гениям, каких во всей истории кинематографа нашего можно счесть по пальцам одной руки.

Актёр же универсал суть и есть как раз уныло-безликое существо, одинаковое во всех ипостасях. Он не способен к перевоплощению, к игре, к жизни на сцене и в кадре. Неспособность к игре компенсирует ужимками, гримасами, взвизгами. Ломаются девочки и мальчики с затянувшимся взрослением, не понимая, не чувствуя, *что* именно они играют. Да и зачем им чувствовать? Это старые актёры (такие чудаки) часами входили в роль, готовились, проникались атмосферой до того, что забывали окружающее, и Михаил Царёв пояснял после спектакля свой странный ответ на житейский вопрос перед оным: «Голубушка, я же был в роли!» Нынешние всю пыль тащат на сцену. Это уже старый и больной Василий Меркурьев самолично дубль за дублем погружался в ледяную воду, считая нечестным прибегать к услугам дублёров. Ныне манерная девица с пафосом жертвы сообщает о том, что она снималась аж в семь градусов мороза! Когда-то Сергей Лукьянов говорил о преимуществе киноактёрства перед театральным: «Мы мысль на кончике жеста донесём!» И доносили! Жестом! Взглядом! Мимикой! Попробуйте найти жест у современного фигляра. А тем более мимику. На гладеньких, с моло-

дых ногтей нередко натягиваемых на затылок мордашках. А всего лучше – попробуйте найти взгляд! Между тем, роль – это именно *взгляд*. Нет взгляда – нет роли, нет образа. Пырьев уже отснял сцену с пощёчиной, но когда на другой день Юрий Яковлев пришёл на съёмки чем-то потрясённый, Иван Александрович бросился снимать сцену заново: у актёра появился нужный взгляд! Можно сколь угодно говорить и кричать, и изгибаться телом, но если глаза твои пусты – то и образ будет пуст. А откуда взяться полноте в глазах, если в душах и головах пустота? Когда-то актёры служили, теперь – светят мордашками. Ведь публику воспитали так, что мордашек ей вполне хватает.

Мордашки, морды... На один формат все – откуда берутся они? Сколько разных актёров было в прежнем кино. Сколько было среди них некрасивых, но ни одного не повернётся язык назвать уродом. Потому что имели они талант, характерность, обаяние – больше, чем красоту. Ныне ни обаяния, ни характерности, ни талантов. Одно слово – уроды.

И всё кино столь же безлико, все фильмы похожи друг на друга настолько, что легче лёгкого перепутать. И не только наши. А всё потому, что и кино стало «универсальным». Эра великого кино пришлась на ту пору, когда оно было *национальным*. Никогда невозможно спутать кино французское с итальянским, английское с американским, тем более, с русским. Я пишу с «русским», потому что лучшие образцы нашего кинематографа не вписываются в клещи «советского». Советское – идеология. А лучшие наши картины восходили по духу своему не к ней, а к великой русской литературе, русской культуре. Они – часть её.

У каждого кинематографа была своя физиономия. Равно как и у каждой литературы. И тем были велики они, ибо всё великое национально. Универсализация же сплывала всё в единый котёл, превратив искусство в штамповку. Универсализм – это колония: одинаковые койки, тумбочки, роботы. Это мир Оруэлла, которым все пугают друг друга, не отдавая себе отчёта, как загоняемся в него универсализмом. Гламурный Оруэлл – универсальный мир, в котором мы имеем несчастье жить.

Вот, именно, образец такого «оружья» и увидела я в твоём новом фильме. Я с тоской смотрела на экран, и в душе моей вызревало странное чувство. Ретроспективой пронеслись перед взглядом все твои интервью и выступления последних лет, и вдруг открылось: ведь все они одинаковы были! Как под копирку! Одни и те же заученные мысли, фразы, позы. Одни и те же интонации и жесты. Из года в год. Ни единого слова нового! Всё по затверженному шаблону... И этого человека я любила? Нет, не его. Всё это время я любила призрак, рождённый собственным воображением. А тебя я просто не знала... *Тебя* не было... Был просто человек, желавший сыграть роль, на которую не был способен, придумавший самого себя, живущий в маске и более всего боящийся, как бы эту маску не сорвали. Ты и меня-то удалил от себя тогда – из страха. Я была слишком настоящей, слишком непосредственной и открытой в своих чувствах, во мне не было ни крупицы условности. И это, с одной стороны, влекло тебя, а с другой – пугало. А я не понимала этого. Оказывается, очутившись по прихоти судьбы на одной сцене, мы играли с тобой разные пьесы, поэтому и не способны оказались на ответные реплики.

Как долго я играла роль,
Не опираясь на партнёра...

Словно пелена с глаз упала и, потрясённая открытием, я хотела уйти, не прощаясь, но не получилось. В фойе ты остановил меня:

– Ты опять спешишь?
– Да, прости...
– Стало быть, картина тебе не понравилась?

Мне совсем не хотелось отвечать на этот вопрос. Но, будучи спрошен, не отмолчишься...

– Увы.
– Почему?

– Скажи... Ты давно пересматривал первую свою работу? «Чёрное и белое»? Давно?

– Очень давно... А почему ты спрашиваешь?

– Пересмотри. Её и нынешнюю...

– Зачем?

– Там ты найдёшь ответ.

На другой день на моём мобильном высветился незнакомый номер. Женский голос представился:

– Я Ирина Горина. Вам что-нибудь говорит моё имя?

– Н-нет...

– В замужестве – Ковалевская.

Я была крайне удивлена, когда твоя жена предложила мне встретиться в кафе на Кутузовском проспекте. Оказалась она молоджавой, рыжеволосой, пожалуй, чересчур ярко покрашенной светской дамой. Странно, что вы прожили столько лет... Одного взгляда было довольно, чтобы понять вашу абсолютную несовместимость. Хотя говорят, что противоположности сходятся.

Я никак не могла взять в толк, зачем она пригласила меня. Но Ирина недолго томила меня неведением. Перво-наперво она извлекла из сумочки айфон, нашла на нём какую-то фотографию, подала мне:

– Вот, полистайте.

Я стала листать и пришла в окончательное недоумение. На фотографиях было какое-то полутёмное помещение, увешенное большими фотографиями. *Моими фотографиями*, теми, что ты снимал в Питере...

– Узнаёте? – спросила Ирина, закуривая.

– Да... Надо же, я и не думала, что мои фотографии так хорошо вышли. Жаль, что не попросила тогда копии.

– Какая оплошность! А Лёня не предложил? Нахальство с его стороны!

– Я не совсем понимаю...

– Это его студия, куда он меня старается не пускать, а сам торчит последние дни целыми сутками. Что вы думаете по этому поводу?

– Насколько я понимаю, думаете вы, – я старалась сохранять спокойствие. – И напрасно. Между мной и вашим мужем никогда ничего не было, нет и не будет. Могу вам в том хоть на кресте поклясться, хоть на чём ещё.

– Почему же так? Не любите его?

– Уже нет... – это не то, чтобы совсем уже правда, но обязано ею быть, и я ответила твёрдо.

– Но любили?

– Да.

– И?

– Он не любил меня. Кроме этих фотографий между нами не было ничего.

– Но теперь он любит вас.

– Сожалею, если это так. Во всяком случае, моей вины здесь нет. Я уже говорила вашему мужу, что между нами ничего не может быть.

– Почему?

– У меня есть семья.

– Жаль!

Всё же напрасно я упрекала себя в развивающемся цинизме в своих дневниках. В сравнении с твоей женой я так и осталась тургеневской барышней.

– Жаль?

– Да. Я бы предпочла обычный адюльтер. Это нормально и естественно. А, вот, сидеть в тёмной студии в компании бутылки и смотреть на фотографии – это ненормально и противоестественно. Во всяком случае, для взрослого, состоявшегося мужчины.

– Простите, вы что, пришли мне предложить стать любовницей вашего мужа?

– Это было бы лучше. Он ведь меня из-за вас видеть не хочет! Говорит, что я обещала из него сделать великого режиссёра, а сделала... Впрочем, лениных выражений я вам передавать не буду. А вы, как он думает, ещё способны разбудить в нём то, что я сгубила. Меня от этой патетики уже тошнит. Поэтому я и говорю, что банальный адюльтер был бы куда предпочтительнее.

– Простите, но ничем не могу вам помочь, – я поднялась и стала расплачиваться с официантом.

– Почему всё-таки?

– Вы не поймёте.

– С чего так?

– Вы своего мужа не любите, а я своего люблю. Прощайте!

Каменная Кутузовка, гудящая, чадаящая, лишённая растительности, подобно черепу арестанта, утратила почти все приметы из моего не такого уж давнего детства. Я проношусь по ней почти бегом, не глядя по сторонам. Мне тошно. От вида каменных джунглей и удушливых выхлопов, от разговора с твоей женой, от самой себя... Тошно, наконец, от дыхания смуты, которым охвачено всё.

Незадолго до этого я последний раз в жизни (надеюсь, что так) была на митинге. Не в качестве участницы, а только как наблюдатель, как представитель СМИ. Идти не хотелось, на кавторанг, бывший одним из организаторов, уговорил. То, что я увидела на месте сбора, произвело на меня куда больший шок, чем все универсальные киношки вместе взятые.

Если в культуре торжествует универсализм, то наше патриотическое движение развлекает пестротой. Ни у либералов, ни у коммунистов нельзя встретить такого дикого, доходящего до кича обилия всевозможных ленточек, шеврончиков, бантиков, значочков, маскарадных костюмчиков, флажочков вперемешку с хоругвями и портретов вперемешку с иконами. Не могу постичь, откуда эта первобытная, дикая, детская страсть ко всевозможным «бантикам»? К парадкам-маскарадам? К игрищам в солдатки и казаки-разбойники? Ощущение такое, что взрослые дяденьки не наигрались в детстве и теперь доигрывают.

На этом параде-маскараде я насчитала сразу несколько видов форм: Царской России, казачья, что-то наподобие марковского мундира, что-то наподобие немецкой, гусарский ментик и, наконец, что-то собственного покроя. Ватага батьки Махно, не иначе. Речи соответствуют нарядам...

Тут же раздают литературу с пугающими заголовками и «иконы». Иконы – на любой вкус. Хотите Талькова с нимбом, хотите Ивана Грозного, хотите Гоголя, хотите Петра...

– Скоро Москва провалится под землю! Старцы говорят! – шорох меж группы богомольцев.

«Истинно, истинно говорю вам: земля налетит на воздушную ось...» (1)

(1) К/ф «Собачье сердце»

И ведь верят они в то, что говорят! Не знаю как во Христа, но в старцев и в Царя Грядущего, который установит-таки на Святой Руси рай, избив предварительно всех вражин – со всей горячностью прежде комсомольских душ верят. Древняя и самая неистребимая ересь – хилиазм, сперва обратившаяся коммунистическим мифом, теперь легко трансформировалась в ожидание Царя Православного... Как древние иудеи ждали (и ждут) своего мессию – земного Царя, который поразит всех врагов, так и наши патриоты ждут своего Царя. И обрящут однажды... Одного и того же...

Худощавый поэт с остановившимися глазами читает свои стихи. Каждую строфу – словно молотом вколачивает.

Ряженные строятся в колонны. Впереди некто стучит в бубен с экстазом африканского шамана. Тронулись... Все – страшно довольны собой. Они монархисты! Они неустрашимы! Враги должны трепетать от одного их вида! Они им ещё покажут!

Дальше представление я смотреть не стала. К чему? Бессмысленное действие оторванных от реальности людей. Их Родина гибнет, их ближние стонут, взывая о помощи, дел – непочатый край, а люди озабочены тем, как нарядиться на митинг, что намалевать на флажке. Сосредоточенность на таких вещах является стопроцентным свидетельством неспособности ни к какому маломальскому делу и гарантией врагам стопроцентного же отсутствия угрозы.

Примерно в то же время было у меня ещё одно потрясение. Григорий Максимович объявил, что вместе со всей семьёй уезжает из России. В ту пору, когда трудились мы с ним в одной упряжке, эмиграция воспринималась мной не иначе как с осуждением. Со временем молодой радикализм ушёл, и теперь сердцем я не могу осудить уезжающих, понимая их. Но Григорий Максимович! Первейший патриот! Он-то как может?

– Я не хочу, чтобы мои дети росли в атмосфере этой дикой ненависти всех ко всем, этого хамства и бесстыдства!

Что ж, и я этого не хочу, но...

– Что такое Родина, в конце концов? То, где мы сейчас живём, давно не является в духовном смысле нашей Родиной. Нашу Родину уничтожили ещё в 17-м году. А здесь «место, где была наша Родина».

– Не надо цитировать подлеца.

– Пусть подлец! Но мысль-то точная. Нашу Родину мы храним в сердцах. И в этом смысле совершенно нет разницы, в какой точке мира жить и растить детей. Мы и там вырастим детей русскими. И с большим успехом, чем здесь, потому что там не будет такой концентрации злобы и хамства.

– А как же «Нет, и не под чуждым небосводом, /И не под защитой чуждых крыл...» (1)?

(1) А.Ахматова

– А как же «Тоска по Родине – давно / Разоблачённая морока»(2)? Поймите! Речь не о бегстве, а об эвакуации!

(2) М. Цветаева

– По-моему, нас всё-таки к стенке ещё не ставят.

– Когда поставят, поздно будет. Ну, представьте. У вас загорелся дом. Отчий дом, к которому вы всей душой привязаны. Что вы станете делать? Наверное, сперва выведете ребёнка, вынесете самое дорогое. Сами, наконец, выбежите вон. И снаружи приступите к тушению. Возможно, потушите. А если нет, то, оставшись живой и спася самое дорогое, восстановите дом. Или нет? Предпочтёте сгореть вместе с домом?

В словах Григория Максимовича звучит несомненная логика. И я почти соглашаюсь с ней. Но что-то всё же противится.

– Нет, это неправильно всё-таки... Возьмите нашу первую эмиграцию. Они были, во всяком случае, более русскими, чем мы с вами. А что же их потомки? Многие и языка не помнят. Вы слышали хоть об одном русском гении среди эмигрантских потомков? Именно русских? Которые обогатили бы *русскую* культуру? Вы найдёте громадное число русских, внёсших вклад, скажем, в культуру французскую. Но это не было русским влиянием, а полная интеграция в чужую культуру. Но русских, таланты свои раскрывшие именно в русской культуре, вы не найдёте. А, вот, в России, будь она советией или эрэфией, найдёте. И не так мало, учитывая тотальное выбивание лучших сил нации на протяжении десятилетий. Почему так? Не потому ли, что нельзя быть вполне русским, не живя одной жизнью со своей страной, не страдая вместе с нею, а лишь наблюдая со стороны и храня память? Нет, людям зрелым, глубоко укоренённым,

это может оказаться по плечу. Но не рождённым там. Можно любить Россию, знать её язык, историю, культуру, но вне живой связи с ней нельзя достаточно понять и прочувствовать её. Именно поэтому и нет среди потомков эмигрантов крупных явлений в области культуры. Они, в лучшем случае, лишь помнят Россию, но не живут её болью.

Не знаю, произвели ли мои слова впечатление на Григория Максимовича. Вскоре он уехал в Германию. Искренне желаю, чтобы надежды его оправдались. Я же постараюсь вырастить своего сына русским в России.

А здесь в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя... (3)
(3)(А. Ахматова)

Смута внешняя шла своим чередом, смута внутренняя нарастала – своим. Вот, ещё запись в дневнике тех дней: «Что я делаю не так? Я всего лишь хотела, чтобы Юра и Валька были благополучны, ни в чём не нуждались. И чтобы можно было помогать другим – иметь на это средства. Я хотела, чтобы всем было хорошо! А что же вышло? Сама я раздражена до предпоследней возможности. Муж избегает меня. Не то подозревает в чём, не то переживает из-за собственного положения (социальный статус мужа должен быть выше социального статуса жены?). Он подавлен, молчалив, часто уходит из дома, и я не имею понятия, где он, не нахожу себе места. Вчера он пришёл вечером, я не сдержалась, накричала... Я всего лишь до безумия волновалась, не случилось ли с ним что-то. А он не понял, воспринял мою отповедь, как неуместное проявление диктата, как выработавшуюся у меня на службе командную манеру, как желание подавить его, унижающее его достоинство. В итоге – очередная обида... Он всё больше отдаляется от меня. Именно тогда, когда так мне нужен. Все эти годы я никогда не показывала ему своей боли, своей печали, считая должным ободрять, поддерживать, заряжать оптимизмом, которого самой отчаянно не хватало. И всё в пустоту. Всё доброе, что выжимаю я из своей души – разбивается об его угрюмость. И я не знаю, как сделать так, чтобы он понял, как нужен мне, чтобы вернулся... Я не могу больше всё нести одна, я так устала... А он не понимает! Наша жизнь разваливается, и я не знаю, как остановить это. Господи, где я ошиблась? Что же я делаю не так?»

Обратно пропорционально домашним невзгодам, стремительно шла в гору моя карьера. Руководство канала решило доверить мне собственную передачу. Это была победа, но я не обрадовалась ей, почувствовав, что победа эта – пиррова. Слишком дорого стоил мне мой успех. И ведь добро бы за эту цену обретала я возможность делать что-то своё. Но кто же мне позволит? «Авторская программа» – это только название. А на деле за кадром остаются несколько этажей, без санкции которых ничего в своей программе дать нельзя. Какой же смысл тогда? Деньги? Слава? Пустота...

Пока вопрос о программе ещё утрясался, мы с Денисом продолжали снимать репортажи. Как-то снимали старуху, с трудом говорившую из-за болезни и всё путавшую. Я измучилась придумывать наводящие вопросы, силясь добиться нужных мне для сюжета слов. Бесполезно! Бабка упорно бормотала на сторонние темы. И, вот, освирепев, я жёстко объясняю ей, что её отвлечённая болтовня ни зрителю, ни чиновникам из администрации, на которых мы хотим надавить для её же надобности, неинтересна. На лице старухи смесь обиды и испуга... Внезапно у меня темнеет в глазах, и голова начинает болеть и кружиться. Плохо слушающимися губами я прошу Дениса докончить всё без меня, извиняюсь перед бабкой и с трудом выползаю на улицу, где бессильно сажусь на лавку и зажмуриваюсь.

Мне невыносимо тошно, и я пытаюсь понять, отчего. В затуманенном сознании отыскиваю причину. И вдруг вспоминаю: шеренга смертников и режиссёр с камерой, просящий

палача подвинуть их, чтобы падал свет... Вот оно! Вот и я стала такой же! Вот, и для меня уже не горе человеческое важно, а сюжет...

Расчеловечивание человецев – вот, процесс, который переживает сегодня, по-видимому, весь мир. Но в нашей стране это ощущается особенно остро. Уже по тому, как люди стали относиться друг к другу, сколько злобы выплёскивают друг на друга, как говорят, как смотрят. А ведь «мы – одна ткань» (Ильин). И вся эта выплёскиваемая злоба, боль обид, всё чёрное и негативное – оно же не уходит в никуда, а рассеивается в духовной атмосфере. Это... своего рода радиация. Только поражающая души. И страшно подумать, скольким микрорентген в час равен её уровень с таким количеством очагов. Духовный Чернобыль...

Когда-то я думала, что чиновники – люди некой особой конструкции. Не вполне люди. Я была неправа. За исключением некоторых, склонных к издевательствам над ближними от рождения, всё это самые обычные люди, ровно такие же, как мы. Будь я писателем, написала бы новеллу о превращении человека в чиновника. Я бы описала юношу, ещё полного добрых побуждений, желающего что-то сделать, изменить. Вот, он получает *место*. Все благие инициативы его тут же давятся начальством, и, оказывается, что ничего изменить он не может – только играть по правилам. Каждый день проходят перед ним десятки людей со своими бедами и жалобами. И если вначале он имеет к ним живое сочувствие, то через некоторое время оно уходит. Потому что чужие несчастья становятся нормой, любые печальные рассказы – привычными. Человек понимает, что ничем не может помочь всем этим людям, что он один, а их тысячи. И, чтобы сберечь собственную нервную систему, выстраивает внутри себя ограждение от чужого негатива, становится невосприимчив к нему. С этого мгновения он становится чиновником. Никакая боль уже не способна тронуть его. Более того, вереница просителей начинает раздражать его, и жаль ему лишь себя, вынужденного тратить время на общение со столь неприятным контингентом. Свои обязанности он начинает выполнять спустя рукава. Просители, желая ускорить дело, начинают предлагать деньги. Чиновник берёт. Сперва нерешительно, стыдясь, но, вот, и это становится нормой, и стыд больше не напоминает о себе. И с этого момента особенное раздражение вызывают те, кто взятку не предлагают. С какой же стати? Все дают, а вы, граждане, особенные? Ну и ждите тогда месяцы и годы! – и над таковыми измывается чиновник уже со злорадством, вымещая ненависть к собственному положению. Утратив всё человеческое, где-то в глубине души, неосознанно он оплакивает этот прискорбный факт и тем больше люет против своих «клиентов», полагая, что именно они довели его до такого состояния.

Нечто подобное, пусть и не в такой тяжёлой форме, происходило со мной. И момент осознания этого стал для меня поворотным. Возвращаясь домой, я вспоминала, как жили мы до моей «славы». Скромно жили, считая каждую копейку, экономя на всём. Приходилось подчас очень трудно. Но за то время я ни разу не поссорилась с мужем, ни разу не подняли мы друг на друга голос. И самое главное, мы были – *вместе*.

Решение пришло само собой. Я не знала тогда, подвиг или преступление совершаю. С точки зрения духовной – наверное, подвиг. По отношению к больному сыну, нуждающемуся в средствах – быть может, преступление. Но иначе я не могла поступить. В тот же день я подала заявление об уходе, что вызвало шок у всех наших. Я никому и ничего не объясняла, просто написала заявление, собрала вещи и ушла.

Ровно через четверть часа после того, как я навсегда покинула Останкино, ты позвонил мне в последний раз. Негромкий, какой-то необычный голос:

– Я посмотрел «Белое и чёрное».

– И?

– Я понял, что ты хотела сказать.

– Прости...

– Ты не изменила своего решения? Вместе мы могли бы всё начать заново...

– Нет, Лёня. Разные у нас с тобой дороги. Если и пересекаются, то где-то в зазеркалье. А здесь нам из наших провалов надо выбираться самостоятельно.

В трубке раздаются гудки. Мне бы очень хотелось думать, что ты простил и понял... Бог даст, так и будет.

Придя домой, я тихо подошла к мужу, сидевшему с книгой, опустилась на подлокотник кресла. Юрий Николаевич удивлённо отложил книгу, снял очки:

– Что-то случилось?

– Ничего. Просто я очень по тебе соскучилась. Ты даже не представляешь, как... – тихо говорю я и, обнимая его, добавляю: – Давай уедем отсюда. От всей этой суеты...

– Куда?

– В Плёс. Шурка там не живёт, дом пустует и ветшает. Ты не представляешь, как там хорошо! Волга, лес, небо... Каждое утро и каждый вечер мы видели бы всё это! Я бы стала заниматься переводами. Вальке бы жизнь на природе пошла на пользу. Да и тебе тоже. Поедем! – повторяю я почти умоляюще. Глаза мужа теплеют, оживают, и он отвечает с волнением:

– Конечно, поедem... Если ты этого хочешь...

Через месяц мы уже будем в Плесе, а за неделю до нашего отъезда отец Виктор обвенчает нас в маленькой домово́й церкви...

Эпилог

Скоро год, как мы живём в Плесе, и отсюда всё бывшее видится почти небылью, странным сном, не имеющим связи с реальностью. Здесь совсем иначе идёт время, и иначе видится мир. Сейчас лето, и всё тонет в зелени. Пахнет созревающими яблоками. Чаше обычного идут по реке пароходы, приветственно гудя к восторгу ребятни, выбегающей махать им вслед.

Скоро настанет осень, опалит кроны и травы, распишет их хохломскими узорами, – красота такая, что глаз не хватает вобрать... Запылают рябиновые гроздья, бесстрастные, величественные георгины, бессмертники. И будут падать яблоки в садах, наполняя их душистым ароматом. Когда приходит осень, меня неудержимо влечёт в лес. Лишь предчувствуя её, лишь заслышав её на дальних подступах, ощущаю в душе непонятное томление. Ещё в те поры, когда осень даёт знать о приближении своём первой позолотой листьев, долгими холодными вечерами и небом, ясным необычайно... Таким оно лишь осенью бывает: тихим, чистым и прозрачным. Наверно, такой ясности достигает разум человеческий в порубежные годы. Ведь осень и есть – порубежье. Не первое января, но именно она знаменует подлинное, некалендарное начало года...

Осенний лес хорош особенно. Тихо в нём, ничто не ворохнётся, и лишь изредка прокричит в чащобе запоздалая птица. Всё так неповторимо, торжественно. Точно застыл лес в ожидании чего-то великого, и ты ждёшь с ним вместе, вслушиваясь в тишину. Чудная поэзия таится под сводами осеннего леса, поэзия ухода, проводов. Тут гамма чувств: тоска по уходящему, боязнь грядущего, но и надежда на новую весну, упование на новую встречу после долгой разлуки, предчувствие Воскресения... И так хорошо, прислоняясь спиной к берёзовому стволу, долго-долго всматриваться в лесную чащу. Кажется, будто Храм это, великий, первоизданный Храм Высшего Божества... И настроение души оттого – молитвенное, созерцательное, умилённое. И вдыхаешь прозрачный, чуть прелый воздух, напитываешься им, чтобы на год вперёд хватило!

Манит меня осенний лес, к великому таинству приготовляющийся, похожий на Храм, который вот-вот будет запечатан. До лучших времён. И все деревья служат последнюю литургию, самую священную, самую великую... И замирает всё в преддверье чего-то неведомого. И стремилась я туда год от года в такие дни, словно там-то и ждала меня неизречённая истина, великое откровение... И теперь стремлюсь. И вместе со всею природой замираю, и однако же верю твёрдо и вторю шёпотом шелесту ветра: Будет, будет Воскресение!..

А дотоле – зима. Зима в Плесе – время особое. В каком городе теперь увидишь такую подвенечную чистоту снегов? Не в отравленной же реагентами столице... В ясный день сияние их столь ослепительно, что приходится жмуриться. В наше окно серебристыми от инея ветвями стучит старая берёза, а с высокого берега летят и летят по накатанным горкам салазки. И совсем не чувствуется мороз, потому что здесь он настоящий, ничуть не похожий на сырую промозглость больших городов.

Пройдёт зима, и снова зашумит звоном ручьёв, гомоном птиц и плеском листвы весна... Закружит голову хмельными ароматами. Сперва забелеют кружевные вишни в нашем саду, заколыхает серёжками черёмуха, горьковатым духом наполняя воздух, и тотчас дополнит его – пряный яблочный. Разбавятся белые кружева розоватыми яблочными лепестками... Следом запенится розовыми и белыми гроздьями разросшаяся под нашими окнами сирень. А там и липы закадят ладаном – медового аромата их нет слаще!

Валька заметно окреп здесь, бегают с мальчишками. Я не могу спокойно смотреть на их игры, зная, что мальчик мой слабее своих товарищей, боясь за него. Но худшее, что могла бы я

сделать для него, это ограждать его от сверстников, от мира, став матерью-наседкой. Мой сын должен учиться жить настоящей жизнью, и он справится с этим.

Юрий Николаевич с осени станет преподавать историю в местной школе. Наконец-то я вижу своего мужа прежним – оживлённым, увлечённым. От былой угнетённости не осталось и следа. Плёс оказался подлинно целебным местом для него. И уже одно это стоило того, чтобы бросить всё и перебраться сюда. Ибо что значат все карьерные успехи в сравнении с радостью на лицах тех, кого мы любим?

Что же до меня, то могу лишь повторить вослед Ахматовой:

Я научилась просто мудро жить,
Смотреть на небо и молиться Богу
И долго перед вечером ходить,
Чтобы унять ненужную тревогу...

Я встаю утром и перво-наперво выхожу на крыльцо. Наш сад ещё окутывает туман, поднимающийся с реки. Я схожу по ступенькам, и с многочисленных клумб приветствуют меня разнообразные цветы... Я неправа была, когда считала следствием холодности твою привязанность к ним. Оказывается, цветы ничуть не холодны, и в тихие утренние часы мне чудится, что они улыбаются мне и, должно быть, говорят что-то, но только я ещё не научилась понимать их. Пионы, колокольчики разных сортов, лилии – моя всегдашняя слабость... И скромные анютины глазки, маргаритки, незабудки...

Я прохожу мимо них по песочной дорожке, открывая покосившуюся калитку, которую муж никак не доберётся починить, выпускаю вперёд себя собаку (сразу по приезде взяли щенка у соседней – на радость Вальке) и неспешно спускаюсь по тропинке к реке.

Людам далёким от рек они кажутся одинаковыми. На самом деле, река меняется каждый день, и это удивительно. Дождавшись первого судна, я с чувством исполненного долга возвращаюсь домой – пора готовить завтрак.

В городе я никогда не чувствовала настоящего вкуса к хозяйству. Оно казалось мне бременем и только. Здесь же всё по-другому. Ты удивишься, узнав, какие новые увлечения появились у меня. Например, варка варенья... Сама я его не очень люблю, но моим мужчинам нравится.

За прошедшие месяцы мы привели в порядок наш обветшавший дом, снова приосанился он, с высоты взирая на изменчивую реку. Внутри – всё, как было при тёте Саше. Лишь добавилось кое-что вывезенное из Москвы, наиболее дорогие сердцу вещи. Так же парит в комнате Вальки Жар-птица, так же трещит печь в холодные дни... Жаль только некому стало играть на гармонии. Скучаю я иногда по её неповторимому голосу, по песням нашим скучаю... Думаю, переправить сюда фортепиано. Надеюсь, что память рук и слуха не подведёт меня, и бабушкины уроки вспомнятся.

Зато на смену вечерам музыкальным пришли вечера чтецкие. В стародавние времена была такая традиция в русских семьях – чтение вслух. Радио и телевизор практически убили её. Люди стали предпочитать их глупую большей частью болтовню – чтению. А ведь такие чтения вслух были немаловажной частью семейной атмосферы, культуры, в которой воспитывались дети.

Соседи, заходя к нам и оценивая наш «старорежимный» быт и изобилие книг, неизменно удивляются. Мы и здесь кажемся странными людьми из другого измерения. Но не всё ли равно? Каждый волен выбирать измерение, в котором жить. Правда, для этого подчас требуется смелость.

Когда солнце начинает клониться к закату, я снова ухожу со двора, но на сей раз иду не вниз, а вверх по тропинке и, обогнув несколько домов, ухожу в берёзовую рощу. Снова, как

когда-то в детстве, касаюсь ладонями белых стволов, глажу их. От моего пня осталась лишь труха, да и колени мои отвыкли от прежних упражнений, а потому, дойдя до самой высокой точки нашего берега, остановившись над самым обрывом, у подножия которого несёт свои воды река, я прижимаюсь к шершавому берёзовому стволу и долго-долго смотрю вдаль. На левитановскую «Над вечным покоем» можно, как на икону, смотреть часами. Но что за счастье видеть эту «икону» вживую! Стоя на этом возвышении, я как будто бы вновь обретаю крылья. Странно, до взрослых лет мне верилось, что я умела летать не только во сне. Слишком отчётливо и реально помнила я свои полёты. И вот, вспоминаю давным-давно забытую привычку – летать...

Впереди остаётся вечер... Ужин, вечернее чтение, чаепитие... Наконец, дом погружается в сон. Наверху спит укрытый крылом Жар-птицы Валька. Спит набегавшийся за ночь «сторож» – к удивлению соседей мы пожалели выгнать собаку в конуру. Похрапывает в ногах мужа моя раздобревшая кошка. Спит и он сам – безмятежно и спокойно.

На террасе негромко бьют часы, никого не тревожа. Светится, немного чадя, лампада у старой бабушкиной иконы. Я отправляю последние письма, закрываю выдавший виды, но никогда не подводивший меня ноутбук, читаю молитвы и осторожно, чтобы не потревожить мужа, ложусь.

Я не знаю, сколько отпущено нам, не знаю, что будет через год, через два. Заботы завтрашнего дня я оставляю завтрашнему дню, а заботы вчерашние оставляю во вчера. Есть обретенное настоящее. Настоящее, в котором я чувствую себя, наконец, воплотившейся, в котором жизнь моя полна и размерена. И за это я благодарю Бога. И желаю тебе также обрести своё настоящее...

Дед

*Памяти моего прадеда,
офицера Русской Императорской и Добровольческой армий
Г.П. Фёдорова*

Страна готовилась отметить очередную годовщину великого октября, и уже за полтора месяца до торжественной даты по телевизору непрерывным потоком потекли переходящие из одного в другой фильмы соответствующего содержания... К очередному юбилею в каком-то медвежьем углу откопали очередное, доселе неизвестное «ленинское место», о чём торжественно рапортовали.

Георгий Петрович с раздражением выключил телевизор, чувствуя как взывает желчь от каждой фразы идущего фильма.

– Не были наши офицеры такими кретинами! – шипел он, нервно бродя по комнате.

Георгий Петрович родился в семье небогатых и не отличающихся знатностью дворян. Юные годы его протекали недалеко от Москвы, размеренно и спокойно. Злые языки судачили, глядя на по-южному смуглого мальчика, что он более похож на соседа, греческого эмигранта, нежели на родного отца. Надо ли говорить, что слухи эти глубоко уязвляли мать, но гордая женщина, немка, чей род восходил к немецким колонистам, осевшим в России ещё при Петре Великом, делала вид, что не замечает злословия, глядя на сплетников свысока. Как наяву видел теперь Георгий Петрович мать, сидящую в плетёном кресле на веранде небольшого дома: безукоризненно прямая спина, холодная, нордическая красота лица, обрамлённого тёмными локонами... Она всегда была сдержанной на ласку, как и на любое иное проявление чувств, и сын немного побаивался её. Отец был чувствительнее, но он вечно бывал занят какими-то своими, одному ему известными делами, проектами, мыслями, являя собой тип русского интеллигентного человека, и мало уделял времени семье.

От родителей у Георгия Петровича не уцелело ничего: даже фотокарточек. Как не бывало их. Только память заботливо хранила размываемые безжалостным временем силуэты и голоса...

На столе лежала простыня «Известий». Георгий Петрович быстро скользнул глазами по передовице, поморщился. Он уже давно не читал газет, а «Известия» выписывал для порядка, а ещё для поклейки обоев на случай уже несколько лет предполагаемого ремонта. Хорошие, большие листы у «Известий» – удобно клеить. А на что ещё годятся они?

Из соседней комнаты послышалось натужное хрипение приёмника: «...И Ленин такой молодой...» Что за гнусность ещё!

– Нюра! Нюра!

– Что, Георгий Петрович?

– Сколько раз я просил, чтобы ты не включала эту чёртову штуковину? Меня раздражает её хрипение, неужели не понятно? У меня и без того голова болит!

– Простите, сейчас выключу...

– Спасибо!

«И юный октябрь...» Клац – выключила. Уф, слава Богу! Железные нервы нужны, чтобы всё это смотреть и слушать... А нервы-то ни к чёрту стали. «Хрипение раздражает»... Плевать на хрипение! Дело в сути... Но не объяснять же этой простенькой бабёшке, которая приходит к нему убираться и стирать, получая за это от него деньги, которые ей так необходимы на троих детей, которых она растит одна, что к чему, не рассказывать же биографию свою... Нюра –

человек хороший. Заботливая, тихая. Что ещё надо? Правда, иногда смотрит уж слишком... Глазами соскучившейся женщины...

В жизни Георгия Петровича была единственная женщина. Единственная, которую он любил. Настасья Борисовна Коршунова. Женщина, воспитанная музыкой и поэзией, сама изумительно играющая на фортепиано и обладающая прекрасным голосом, владеющая несколькими иностранными языками... Женщина Серебряного Века. Муза. Блоковская незнакомка... Точёная фигура, интересная бледность, контрастирующая с тёмными, широко распахнутыми глазами – в неё были влюблены многие, но она выбрала его. Сохранилась фотография, сделанная вскоре после свадьбы: смуглый брюнет с прямым красивым носом и устремлённым вперёд взглядом и изящная барышня, мягкая, немного грустная, лёгкая, словно ходит не по земле...

Кто знает, как сложилась бы их жизнь, не начнись война? Но война началась, и молодой офицер отправился на фронт. Вскоре в составе русского экспедиционного корпуса Георгий Петрович был направлен во Францию: союзникам приходилось жарко, и посол Палеолог потребовал от русского Императора оказать помощь, пояснив, что жизнь образованного француза стоит пяти малограмотных мужиков...

Именно во Франции Георгия Петровича, ставшего уже Георгиевским кавалером, застала весть о произошедшей на Родине революции. Среди офицеров начались споры: одни считали лучшим остаться в бель Франс, другие стремились вернуться в Россию, одни поддерживали революцию, другие ужасались краху императорской власти...

– Я не вижу смысла возвращаться теперь, – говорил прапорщик Светёлкин, теребя ус. – Поглядим, чем кончится. Когда утрясётся, тогда и ехать можно. К тому же сейчас даже границы пересечь сложно.

– Именно сейчас! – холодно возражал Георгий Петрович. – Пока ещё мы можем что-то сделать, пока мы нужны нашей Родине. Мы должны быть там в эти трагические дни. Это долг каждого офицера.

– Родина поднимет нас на штыки и поглумится над прахом!

– Что бы там ни было, но отсиживаться в стороне, когда другие борются за спасение Родины, я не могу.

– Это глупо, Жорж.

– Пусть так.

Предательство Корнилова Керенским жестокой болью отозвалось в сердце Георгия Петровича. Сыплющиеся как из рога изобилия измены и подлости обескураживали, убивали куда более метко, чем пули и снаряды немцев, которые казались уже избавлением. Георгий Петрович не мог понять, как, отчего вдруг самые благонамеренные люди обернулись подлецами, отчего в простых русских людях явилась жажда крови своего ближнего, отчего, наконец, лучшие умы, храбрейшие офицеры растерялись и упустили момент, когда ещё можно было что-то исправить. Откуда взялась эта жуткая путаница во всём, путаница, в которой уже трудно было отличить ложь от правды, своих от чужих, точно дьявол засыпал песком глаза? Зверски убитый генерал Духонин однажды сказал вслед за Марком Аврелием: «Делай, что следует, и будь, что будет!» Этому завету и последовал Георгий Петрович, решив пробираться на Дон, где формировалась Добровольческая армия.

– Что мы можем? Спасти Россию? Образумить русских людей? Нет, на это у нас не достаточно сил. Но мы можем и должны попытаться. В этом наш долг, и его мы должны исполнить до конца. И, что бы ни вышло из этого, но никто не бросит нам упрёк, что мы не пытались, что стояли в стороне, струсил, – так писал он в ту пору своему другу.

Нюра принесла чай, который Георгий Петрович всегда пил в одно и то же время: педантичность и точность была его фамильной чертой.

– Побежала я, Георгий Петрович! В субботу, значит, приду теперь.

– До свидания, Нюра. Возьми конфет детям...

– Спасибо. Всего доброго, – накинула вязанный платок на плечи и убежала. Один, один, опять один... Нюра теперь придёт только через три дня, как заведено... Конечно, содержание помощницы по хозяйству на более чем скромную зарплату, это роскошь и «барские замашки», но что поделать? Даже после всего пережитого потомственный дворянин и боевой офицер не мог отказаться от некогда усвоенных привычек, чёрная работа претила ему.

...А сколько было пережито! После разгрома белых Георгий Петрович чудом остался жив, но на долгие годы был обречён путешествовать по дантовым кругам: концентрационные лагеря, пересылки, тюрьмы... Ему приходилось находиться в камерах, где людей было так много, что даже сесть было нельзя. Стояло невыносимо зловоние, солнечный свет не проникал туда, иные не выдерживали – сходили с ума, либо умирали, но и умершие оставались стоять, сдавленные со всех сторон живыми – и так перемешивались до тех пор, пока прикладами не выгоняли, не гнали к телячьим вагонам, вновь набитым, как бочки с селёдкой, а уж в них доставляли к новым пунктам назначения, в лагеря, где начлаги, похожие на плантаторов, получивших рабов, придирчиво рассматривали живой товар...

Не боль, не физические лишения, давно ставшие привычными, были мучительны, но унижение. Какие-то уголовники, латыши, местечковые еврейчики из вчерашних цирюльников и торгашей глумились над ним, русским офицером, прошедшим войну, плевали, насмехались, и им нужно было подчиняться, потому что они вдруг стали хозяевами всего, хозяевами всей России, господами русского народа – и что могло быть невыносимее, постыднее этого?! От стыда глаза наполнялись жгучими слезами, разрывалось сердце...

В тюрьмах заключённые вымирали от тифа и других болезней. Некому было даже помочь несчастным. Георгий Петрович держался, но в одном из лагерей болезнь свалила и его. Возможно, он умер бы, если б не забота одной из заключённых. Её звали Варвара. Она была женой пропавшего без вести офицера. Георгий Петрович помнил, как, подавая ему кружку воды, она говорила:

– Вы на Коленьку моего похожи. Может, если он жив, так и ему кто-нибудь поможет...

А потом Варвара исчезла. Кто-то видел, как ночью увели её из барака к одному из надзирателей, у которого была в тот день шумная попойка. Поговаривали, что он давно добивался красавицы Варвары, предлагая освободить от работ, а, получив резкий отказ, решил взять силой. С той поры её никто не видел. Георгий Петрович не знал фамилии этой редкой женщины, не помнил лица её, так как видел его только в бреду, но только смутный силуэт и тихий голос:

– Терпеть надо, родимый... Господь терпел и нам велел...

Сколько пришлось вытерпеть ей... Как страшен был конец её... И теперь сжималось омертвевшее сердце, растревоженное воспоминанием.

А Настасья испугалась быть женой «белогвардейской контры», испугалась и за себя, и за маленького сына. Оставив ребёнка на воспитание сестре, она изменила фамилию и уехала в Ленинград, надеясь, что там никто не узнает о ней, и жуткая пасть красного чудовища не поглотит её вместе с сыном. Умом Георгий Петрович понимал, что жена поступила правильно, что нужно было позаботиться о ребёнке, что велик страх, и редкая душа может противостоять ему, но сердце болело, видя в поступке Настасьи предательство, а что может быть горше, чем предательство самого близкого существа, даже если оно было вынужденным?..

Настасьи уже давно не было в живых. Она умерла от голода в блокаду, и чужие люди отвезли её худенькое тело на санках к общей могиле, где обрела она последний приют...

А Георгий Петрович, вопреки всему, остался жив. Освободившись, он поселился в маленьком городке, устроился на работу. Встреч с оставшимися родными он не искал. Унаследованная от матери суровость после всего пережитого выродилась в жёсткость, явились подозрительность, заставлявшая в каждом встречном предугадывать врага, ежеминутно ожидать предательства от любого, не верить никому, желчность. Вдобавок Георгий Петрович боялся,

что навсегда приклеенное к нему клеймо «врага народа» распространится на некогда близких ему людей, пусть и ставших теперь вовсе чужими, не умеющими понять его и не понимаемыми им. Ему, вообще, стало очень сложно принимать людей такими, как они есть, понимать их...

Но вот пришло письмо от сына, выросшего фактически сиротой, с требованием взять его жить к себе. «Если не возьмёшь меня, так ты мне не отец». Сжал Георгий Петрович сухие губы, прошёлся раза два по комнате и ответил сыну, чтобы приезжал...

Прежде они не были знакомы. Встретились на вокзале, пожали друг другу руки. Ни слёз, ни объятий, ни высокопарных слов. Фамильная сдержанность с обеих сторон. Как бы ни переворачивалась душа, внешне ничто не выдаст этого. Георгий Петрович внимательно вглядывался в сына: похож, похож – такой же смуглый, темноволосый, тот же прямой, острый нос. От матери совсем немного взял. Разве глаза только... А всё-таки чужой. Чужой человек, хоть и единокровный сын.

Сын тоже, кажется, со вниманием изучал отца. Что-то про себя решил? Сухопарый старик, раньше срока постаревший, но ещё крепкий, не утративший прежней офицерской выправки, которую так старались сломать, умные, цепкие, подозрительные глаза на худом, смуглом, изборождённом морщинами лице, волосы с сильной проседью, плотно сжатые губы со скорбными складками в уголках...

Какое-то время жили вместе. Но и совместный быт не сближал. Жили вместе, но каждый сам по себе, стараясь не мешать друг другу. Иногда Георгия Петровича посещало тёплое чувство к сыну, хотелось сказать ему что-то доброе, даже прижать по-русски к сердцу, но слов не находилось, да и не была такая демонстрация чувств в духе старого офицера. Однажды, измучавшись изменами и унижениями, он наглухо запер свою душу, не желая никого пускать в неё, и боялся открыть её вновь. Выросший без родителей сын также не стремился сократить дистанции между собой и отцом, может быть, считая, что первый шаг должен сделать он, и обижаясь, что этого шага не последовало. Таким образом, перегородка, разделяющая отца и сына, так и не была разрушена.

Иногда последний спрашивал о матери, о прошлом, но Георгий Петрович не любил таких разговоров и вскоре прекращал их, отделяясь сухими ответами: слишком болезненными были эти воспоминания. Но разве понять было молодому, пусть и имевшему нелёгкое детство, человеку эту боль? Ему казалось, что отец просто не хочет разговаривать с ним, тяготиться им. А Георгий Петрович думал, между тем, что зря разрешил сыну приехать. Ведь ему надо устраивать жизнь, учиться, работать, делать карьеру... А такой отец может всё испортить одним лишь фактом своего существования. А уж житьё с ним в одном доме... Правда, говорят, что теперь другие времена, но старик не верил этому. Времена не могут быть другими, раз идеи те же, люди те же... И нет гарантии, что завтра снова не зашныряют по улицам воронки, собирая по ночам свою страшную жатву...

...В дверь раздался негромкий стук. Нюра что-то забыла? Кто бы это мог быть? Георгий Петрович потушил папиросу и пошёл открывать. На пороге стояла смуглая, темноволосая девчушка:

– Здравствуйте... Я Настя... – представилась.

Внучка, значит... Да, да, она. Видел её несколько раз на улице, но виду не показывал, не заговаривал. Принцип...

Когда сын объявил, что собирается жениться, Георгий Петрович пришёл в ярость. Невеста не понравилась ему сразу. Старая дева, даже старше будущего мужа! Ни образования, ни внешности, а гонору хоть отбавляй, манерность-то какая, апломб! И откуда она понабралась этого?! Отец её в городе шишка, так и что ж из того? Слова в простоте не скажет! В выражениях Георгий Петрович не постеснялся, лихо отвесив желчные определения будущей невестке и собственному сыну, присовокупив и угрозу:

– Если женишься на ней, так я тебя не знаю!

Гордый старик не учёл, что сын унаследовал от него не только внешность, но и фамильные качества: сдержанность, гордость и принципиальность. Что решено, то решено – не разубишь. Принцип нашёл на принцип, гордость на гордость.

– Очень хорошо, – прозвучал ответ. – Значит, мы с тобой не знакомы. Прощай!

В тот же день сын съехал. Вскоре он женился на своей избраннице. Георгий Петрович считал, что сделал сын это назло ему, и укорял себя за недостаток такта, излишнюю резкость, которая подстегнула молодого строптивца к глупому шагу, в котором он непременно раскается со временем, и которого могло бы не быть, если бы не сдуру выдвинутый ультиматум...

Так или иначе, но с тех пор, живя в одном городе и регулярно встречаясь на улице, отец и сын не здоровались и расходились так, точно были не знакомы...

И, вот, теперь вдруг явилась внучка... Настасья... В честь матери назвал, надо же...

– Здравствуйте... – и запнулась, не зная, как назвать. «Дед» как-то не шло с губ. Посторонний он, а не дед. Дед – другой, отец матери... И переминается с ноги на ногу. Небось, и не хотела идти. Родители послали. «К деду».

Дед тоже не находил нужных слов, глядя на внучку, как на странное, инопланетное существо. Похожа, похожа... Но – чужая... Как и все, и всё...

– Ну, здравствуй... Проходи в дом, раз пришла...

Георгий Петрович почувствовал, что слова его прозвучали как-то сухо, недовольно даже. Нехорошо... Ребёнок не виноват ни в чём. Внучка всё-таки. Надо бы поласковее... А как это – поласковее? Непонятно...

Прошли в комнату, сели за стол. Настя подпёрла голову рукой и стала болтать ножкой под столом. Она явно скучала, отбывая непонятную ей повинность. Неуютно чувствовал себя и Георгий Петрович. Надо было что-то сказать, а он не знал что.

– Чаю... хочешь? С карамелью?

– Давайте, – пожала плечами девочка.

Георгий Петрович принёс чай и конфеты. Посидели ещё, попили чаю. Настя пососала карамельку, протянула деду, но тот не взял: сладкого он не любил, и дешёвые конфеты держал в доме для Нюры и её детей.

– Как живёте вы? – спросил Георгий Петрович.

– Хорошо. Скоро в Москву перебираемся...

– В Москву, значит...

– В Москву, – подтвердила Настя. – Ну, я пойду... Меня бабушка ждёт...

– А... Иди... – кивнул Георгий Петрович и, спохватившись, добавил: – Заходи ещё!

– Зайду, – ответила внучка и убежала.

Не зайдёт больше... Зачем? Чужой он ей, а она ему... Бабушка ждёт... А он вздохнул с облегчением, когда она ушла. Дед! Так и не назвала дедом... Георгий Петрович вдруг почувствовал приступ завести к родителям невестки. Их его внучка зовёт дедушкой и бабушкой... И его могла бы! Если бы мог он... Ведь теперь было не поздно попытаться подружиться с нею, перебросить мосток... Не сумел! Да и как? Её, эту девчущку, в школе учат атеизму, вдалбливают в светлую головку ложь о коммунизме, славят палачей и клеймят «контру», клеветают на растоптанную ими Россию. Она, небось, смотрит все эти идиотские фильмы, играет с друзьями в неуловимых мстителей, вопя «бурнаши на крыше»... Она – из другого мира и времени, и никак не стереть эту грань, не разрушить стену. А если бы рассказать ей всю правду, воспитать по-своему, как следует? Куда уж! Кто ему позволит... Да и нужно ли? Разве легче ей будет жить после этого? Да и у него нет ни сил, не желания срывать швы с сердца, травить душу горькими воспоминаниями, чтобы вложить что-то, если получится, в голову этой девчущки... К тому же, наверняка, её мать настраивает её против него. Пусть всё остаётся, как есть... Ничего тут уже не поправишь, не срастишь того, что разрублено безжалостно. А, может, и он сам неправ в

чём-то. Не может переступить через себя, отталкивает всех, боясь снять панцирь с души, ушёл в себя, а для прочих – что камень. Нужно бы мягче быть... Вот, и внучку, которую мог бы нянчить, которая могла бы любить его, создавать уют в его пустом доме своей детской непосредственностью, оттолкнул вслед за сыном... Они в Москву уезжают... Теперь и на улице не увидятся. Один, всегда один... Нюра только через три дня придёт, да толку от неё? Всё равно один... Глупая штука жизнь!

Георгию Петровичу вспомнились юные годы, первые месяцы после свадьбы, Франция и слова прапорщика Светёлкина (интересно, жив ли?). Может, и прав он был? Нужно было остаться во Франции, вызвать туда Настасью, и жизнь бы сложилась по-другому. Боже, всё могло быть иначе... Он сам всё решил. Исполнил долг, выбирая между честью и благополучием, выбрал честь...

– Терпеть надо, родимый... Господь терпел...

Терпеть, терпеть... Одинокая слеза неожиданно вытекла из правого глаза, неподвижно смотрящего перед собой, скользнула по глубокой борозде, по впалой щеке и осталась висеть каплей на скуле...

ПАЛАЧ И ЖЕРТВА

Из дневника Александры Ш.

«Вчера утром Б. дал мне пистолет. Значит, сегодня... Сегодня! Сегодня будет покончено с ещё одним кровопийцей. Этот невежественный палач приказал бить плетью политического узника, образованнейшего и тонкого молодого человека, якобы за возмутительные оскорбления, который тот ему нанёс. Сегодня состоится отмщение. Сегодня с ним будет покончено. А ещё будет покончено с проклятой серой жизнью, пустой и бесполезной, которую я вынуждена вести. Кто окружает меня? Люди, которые не в силах меня понять, которые не силах понять того, что так жить нельзя и преступно! О, как я устала от них! Что они знают обо мне? Что знают о жизни? Человек должен жить для борьбы, для блага будущих поколений, для высокой цели. Мы не хотим пассивно ждать какого-то будущего, мы хотим делать его сейчас, приближая заветный час нашей победы. Пусть всякий тиран знает, что над ним подвешен меч, который покарает его за кровь невинных. Я не убийца, я меч, карающий зло и приближающий торжество справедливости... Я погибну за высшие идеалы – и что может быть прекрасней этого?! Для чего ещё – жить? Чтобы выйти замуж, истребить высокие порывы души, предать идеалы и заживо погresti себя в пошлости семейной жизни? Нет! Это не моя доля! Я послужу всему человечеству и взойду на эшафот гордо, как Перовская, в сознании того, что долг мой исполнен...»

Когда Саша выводила нервным почерком последние слова, дверь её спальни с шумом распахнулась, и в неё вбежала младшая сестра, Варя, румяная четырнадцатилетняя хохотушка. На ней было прелестное голубое платье, а в руках девушка держала корзинку, в которой сидел очаровательный пушистый щенок.

– Шурочка, посмотри, какое чудо!

– Как ты смеешь врваться ко мне без стука?! – вскрикнула Саша не в силах сдержать гнева, судорожно захлопывая тетрадь. – Я же просила стучать!

– Извини... – испуганно отозвалась Варя, и на глазах выступили слёзы. – Я только хотела показать тебе... Дядя прислал его мне на именины...

О, Господи! У неё же именины сегодня! Совсем забыла... Нехорошо было срывать... Ведь Варенька ни в чём не виновата. Сестру, выросшую у неё на глазах, Саша искренно любила, а потому взяла себя в руки и, с усилием улыбнувшись, сказала:

– Прости, пожалуйста. Просто ты так неожиданно вошла... С днём Ангела тебя, сестричка!

– Спасибо, – лицо Вари вновь повеселело, и она подошла к сестре. – Прости, что я без стука... Я ведь знаю, что ты не любишь... Ты что-то писала, да? А что?

– Это неважно! Варя, я должна закончить... Давай поговорим позже! – Саша пыталась придать голосу ласковости, но чувствовала, что он всё равно звучит жёстко и раздражённо.

– Ты чем-то огорчена? Это из-за Митеньки?

Маленькая дурочка... Одна любовь в голове! Когда же она уйдёт, наконец?

– Нет, всё в порядке. И Митя здесь не причём. Варя, оставь меня, пожалуйста!

– Да, конечно... Ты выглядишь нездоровой. Я видела, у тебя ночью горел свет. Ты, наверное, читала, да? И у тебя теперь голова болит?

– Есть немного.

– Тебе надо прогуляться.

– Именно это я и хочу сделать.

Варя направилась к двери, и Саша услышала, как жалобно заскулил щенок. В былые времена она тотчас же бросилась бы гладить его, этот тёплый, шерстяной шарик, но теперь хотелось лишь остаться одной. И всё-таки Саша окликнула сестру:

- Варя!
- Да?
- Щенок, в самом деле, чудесный. Как ты назовёшь его?
- Ещё не знаю... Может быть, ты посоветуешь?
- Может быть... Но не сейчас.
- Приятной тебе прогулки, Шурочка!

Да уж, прогулка обещает быть приятной... Саша закусил губу, убрала тетрадь в ящик стола, достала завернутый в зелёный шёлковый платок браунинг и, спрятав его в сумочку, вышла из дому.

На улице был солнечный майский день, необыкновенно пряно пахли цветы и деревья, щебетали птицы, смеялась, играя, детвора... Казалось, весь мир радовался чему-то в этот погожий день, и тем чернее становилось на душе у Саши. Как чужды ей все эти люди, ничего не понимающие, прожигающие праздно свою жизнь, тратящие время на пошлую суету, как чужд весь этот мир с его радостями и скорбями. Скоро всё окончится... Лишь бы не дрогнула рука. Но она не дрогнет: Саша долго упражнялась в меткости, стреляя по мишеням...

Вот, и дом, где остановился генерал. Он, разумеется, не откажется принять молодую хорошенькую девушку – а дальше дело техники. Сколько раз Саша представляла себе, как будет стрелять в эту злобную тушу (а иначе царского сатрапа и представить нельзя). Ей даже снилась эта сцена.

- Доложите генералу, что Александра Юрьевна Шатаева просит принять её.
- По какому делу?
- По... по личному...
- Обождите здесь. Я доложу.

Сердце колотилось где-то в горле, Саша боялась не сдержаться и чем-то выдать себя. Но, вот, послышались шаги и голос, показавшийся ей почему-то знакомым. В то же мгновение в приёмную вышел высокий, поджарый господин лет шестидесяти с роскошными белыми бакенбардами и благородным, красивым лицом.

– Сашенька! – воскликнул он, распахивая руки для объятий. – Девочка моя! Какими судьбами?

Не успела Саша опомниться, как генерал обнял её и расцеловал.

– Не чайл, не чайл видеть! Я уж думал, забыла ты меня! Ты ж крохой была совсем... Вот, Митрич, погляди: родная дочь моего друга, однополчанина. Вместе служили в годы нашей молодости. А эту прелестную девицу, представь, я на руках носил! И куклу ей подарил... С синим бантом! До сей поры помню – вот, память-то!

При упоминании куклы с синим бантом Сашу как громом поразило. Вот, откуда ей знаком этот голос! Ну, конечно! Иван Петрович! Ближайший друг покойного отца! Покойная матушка говорила ещё, что он – самый красивый офицер, каких ей доводилось видеть. Об этом даже и теперь можно смело заключать. Живо ожили в памяти Саши обрывки детских дней. Вот, она на даче, которую на лето снимал отец... Качается на качелях. А Иван Петрович рядом. Качает. Смеётся. А потом подхватывает на руки и кружит... Нет, быть того не может! Не может быть, чтобы это и был тот мерзкий палач! Это какая-то чудовищная ошибка! Наваждение! Неужели это его должна она убить?..

А генерал не мог прийти в себя от радости:

– Вот так уважила старика! Спаси Христос! Не ждал, не ждал... От вас, молодёжи, не дождёшься внимания. Экая же ты красавица стала! А была такой крохой... А мы с твоим отцом были такими молодыми! Эх, золотое время было! Небось, от женихов-то отбоя нет? Ах, где

мои двадцать лет! Митрич, что ты стоишь, оловянная твоя башка? Вели немедленно подать в мой кабинет кофию да пирожных. Идём, Сашенька! Сейчас посидим, поговорим... Вот, так порадовала старика! – с этими словами Иван Петрович взял Сашу под руку и повёл в свой кабинет. – А мне Митрич имя твоё назвал, а я думаю: ты или не ты? А уж, как увидел, сразу узнал. Очень ты на отца похожа! Жаль, не дожил...

Кабинет генерала был обставлен с безупречным вкусом. На стенах висели полотна, изображающие различные баталии, на полках расположены сувениры и заключённые в изящные рамки фотографии. На одной из них были запечатлены несколько молодых офицеров, в одном из которых Саша узнала отца.

– Вот, – кивнул на снимок Иван Петрович, – это мы по окончании училища... Молодые совсем! Садись, девочка моя.

Саша опустила в глубокое кресло. Ей казалось, будто бы всё происходящее она видит в нелепом сне, от которого хотелось быстрее очнуться. Подали ароматный кофе с корицей и сливочные пирожные. Саша сделала несколько глотков и подняла глаза на генерала. Он смотрел на неё с такой ласковостью и радостью, что Саша чуть не расплакалась.

– А я и не знал, что вы живёте в этом городе, иначе навестил бы вас.

– Здесь дом бабушки... Мы живём у неё.

– Вот как? Не знал, не знал... Да, разбросало нас время. После смерти твоего отца, я кочевал из гарнизона в гарнизон: служил в Туркестане, на границе с Китаем, потом в Польше, потом недолго в столице... По правде говоря, мне очень не нравится то, чем приходится заниматься теперь. Борьба с этими... революционерами! Я солдат, а не тюремщик... Надеюсь, вскоре эта вакханалия прекратится, и я смогу заняться своим делом.

– Что же, Иван Петрович, вам и расстреливать приходилось?

– Бунтовщиков-то? Бывало, что и так... А что делать? Кто осуждает солдата, когда он убивает на войне неприятеля? Здесь тоже война, если посчитать, сколько крови проливают эти отщепенцы... Дайте им волю – они бы всю Россию в крови утопили. Война... Только на этой войне не пожнёшь лавров, потому что она грязна, и воевать приходится не с врагом, а с горсткой смутьянов, которые, как опасная зараза, распространяются в нашем обществе, отравляя и убивая его.

– И вам не было жаль их?

– Давай оставим эту тему, – генерал поморщился. – Благородной барышне не след знать о столь гнусных вещах. Поговорим о чём-нибудь более приятном. Расскажи, как вы живёте? Как Володя, Варя? Как матушка?

– Матушка скончалась три года тому назад, – ответила Саша.

– Вот как... – Иван Петрович вздохнул. – Не знал! Царствие Небесное! Хорошая была женщина... А Володя? Варя?

– Володя в столице. Учится в Николаевском училище...

– А! Будущий кавалерист! Отменно, отменно! Отец непременно гордился бы им. Верю, он будет таким же блестящим офицером, преданным Царю и Отечеству. А сколько же теперь лет Вареньке?

– Четырнадцать. Сегодня её День Ангела...

– Вот как? Постой, постой... – генерал поднялся, открыл какой-то ящик, порылся там и извлёк оттуда две фарфоровые фигурки: старика-мудреца и молодой девушки. – Эти статуэтки я привёз из Китая. Говорят, они приносят счастье. Возьми их. Одну оставь себе, а вторую подари от моего имени Вареньке. А я уж непременно выберусь к вам на днях с визитом.

– Благодарю, – Саша тоже поднялась, не чувствуя ног. – Мне уже пора... Спасибо за кофе.

– Спасибо тебе, что не забыла старика! Ах, как бы я хотел иметь такую дочь, как ты! Передавай нижайший поклон бабушке!

– Непременно, Иван Петрович.

Генерал проводил Сашу до самых дверей, где они простились. Саше казалось, что ещё немного – и она задохнётся. Что-то давило ей грудь, перехватывало горло. Она не смогла! Не смогла! У неё не хватило духа убить этого палача, расстреливавшего без жалости лучших людей, которых он смеет называть отщепенцами! О, непростительная слабость! Непростительная! Но убить друга отца, человека, который так искренно радовался ей – как?.. О, как всё ужасно, как ужасно! Саша почти бежала по улице, не помня, себя, задевая прохожих.

– Аля! Аля! – окликнул её кто-то.

Саша остановилась и огляделась. Прямо возле неё остановился щегольской экипаж, из которого выглянула хорошенькая головка, увенчанная модной шляпкой. Юлия Муразова. Ближайшая подруга. Пустая, легкомысленная девица, увлечённая лишь танцами, модными романами и нарядами... Как не вовремя! Неужели ещё её глупую болтовню слушать теперь?! Нестерпимо!

– Аля, друг мой, тебя не дозовёшься! Откуда и куда ты так стремительно бежишь?

– Я... гуляла...

– Гуляла?

– Да.

– Что ж, не говори, если не хочешь...

И прищурилась! Уже выдумала себе всякой ерунды! Теперь поедет звонить по всем знакомым, что Саша Шатаева влюбилась и, кажется, тайно встречалась с мужчиной. Иной мысли разве возможно родиться в этой глупой завитой головке?! Но пусть, пусть! Разве это важно теперь?! Пусть рассказывает, что хочет...

– Может быть, тебя подвезти?

– Не стоит. До дома рукой подать – я прогуляюсь.

– Воля твоя. А я еду к Горицким... У них сегодня намечается нечто весёлое. Не хочешь присоединиться?

– Их веселье смертельно скучно.

– Какая ты, Аля, стала злая, холодная... Положительно, ты что-то скрываешь. Я нарочно заеду к тебе нынче или завтра.

Этого ещё не хватало! Как же все опостытели! Нет этой муке конца!

– Не стоит, Юлия. Я сегодня дурно чувствую себя, а завтра, быть может, меня не будет дома.

– А куда ты собираешься?

– Навестить старого друга моего отца. Я сегодня узнала, что он в городе. Он меня на руках носил.

– Ты не могла найти дела скучнее? Уж лучше ехать к Горицким!

– Вот и поезжай!

– Странная ты сегодня, Аля. Я бы на твоём месте позвала врача.

– Спасибо за совет. Прощай!

– Прощай! – Юлия пожала плечами и обиженно надула губки.

Обиделась! Тем лучше! Значит, в ближайшую неделю она уж точно не явится со своими глупыми разговорами, дабы дать почувствовать Саше свою обиду. Это, однако же, удача! Пусть едет к Горицким, пусть поёт глупые куплеты, которых набрались все нынче от певичек варьете, только не лезет в душу, не мозолит глаза...

Дома Саша застала праздничный обед. Как же всё не вовремя! Бабушка тотчас заспешила к ней:

– Шурочка, а мы уже начали волноваться! Тебя так долго не было! Что с тобою? Ты такая бледная! Может быть, позвать врача?

– Не нужно, – Саша изобразила улыбку. – Просто у меня немного болит голова. Мне лучше прилечь.

– Как, ты не поздравил сестру с праздником? – сплеснула руками бабушка.

– Обязательно поздравлю, – Саша достала из сумочки статуэтку китайской девушки и протянула Варе. – С Днём Ангела, сестричка!

– О, какое чудо! Где ты нашла?

– Где нашла, там уже нет... Я рада, что тебе нравится.

– Наверное, ты купила у Гербера? У него бывают очень забавные вещицы, но очень дорогие... Шурочка, милая, ты самая хорошая! Я так люблю тебя!

О, как это невыносимо! Все любят! Все заботятся! Лучше бы прогоняли и проклинали... Мочи нет выносить их любовь! Тем не менее, Саша заставила себя полчаса посидеть за обедом, что-то съесть и выпить. После этого она поднялась в свою комнату, заперла дверь и бессильно повалилась на кровать... Довольно! Она не годится для борьбы! Не может убивать! Как можно стрелять в человека, радостно распахивающему тебя объятья? К чему эта мука? Пусть кто-то другой идёт и стреляет, а Саша больше не пойдёт... Пойти завтра же и отдать пистолет... И покончить с этим делом! Пусть решают сами, без неё...

С этой мыслью Саша заснула. Ночью ей снились кошмары. Она то просыпалась, то впадала в забытие, то бредила... Ей снилось, что её выводят на плац, ставят перед шеренгой солдат, и невозмутимый Иван Петрович командует:

– Пли!

А интересно, скомандовал бы или нет? Ведь она – враг... Кто осудит солдата... Это его долг! И он исполнил бы его! А она свой долг исполнить не смогла... С этой мыслью Саша проснулась. Быстро одевшись, она вышла из дома. На небе бродили облака, сквозь которые просачивался золотистый свет солнца. Было душно, как частенько бывает перед грозой, и люди ходили медленно, точно лениво, сонно. Саша собиралась идти совсем в другую сторону, на секретную квартиру, чтобы отдать пистолет, но ноги сами поворотили к дому Ивана Петровича. Оказавшись перед ним, она закусил губу. Нет, не может она предать своих товарищей, которые доверили ей это дело... Личные чувства не причём. Дело должно быть сделано. Саша позвонила в колокольчик...

Снова приёмная, снова радушное лицо, ласковый голос, объятия и оцепенение от этого нежного отношения.

– Что-то случилось, Саша? Я не ждал тебя так скоро. Хотя я очень рад, что ты пришла. Ты передала бабушке, что я собираюсь быть у вас днями с визитом?

– Да... – едва слышно ответила Саша.

– Прости, девочка моя, я с радостью бы ещё поговорил с тобой, но мне нужно теперь же ехать по делам службы.

По делам службы... Спасать отечество от бунтовщиков? Вот, теперь бы и остановить его... Вот, сейчас... Господи, дай сил!

– До встречи, моя милая! Прости ещё раз! Заходи непременно вновь – я всегда тебе рад!

И ушёл, сел в экипаж, уехал... А она не успела. Не смогла. Опять не смогла! Саша готова была разрыдаться. Она опрометью сбежала с крыльца и помчалась по улице, не замечая ничего вокруг.

Как только Саша переступила порог дома, ей навстречу поднялся Митя Сумароков:

– Здравствуй, Александра Сергеевна! А я вас уже четверть часа жду!

Какое несчастье! Ждёт! Зачем ждёт? Какой он нарядный сегодня. Какой красивый. С цветами. Истинное мучение! Опять будет сыпать комплиментами, говорить о любви... Зачем только он любит её? Любил ба какую-нибудь Юлечку или Сонечку! Прогнать его, прогнать... Но как? Жаль его... Как – обидеть? Ведь он же добрый, честный, хороший человек... Прогнать, прогнать... Раз и навсегда! Чтобы дорогу забыл! Для его же пользы! Жалость – что ещё за пошлость!

– Что вам нужно, Дмитрий Иванович?

- Я хотел говорить с вами.
 - Я не расположена сегодня ни с кем говорить!
 - У вас что-то случилось? Я могу вам помочь? Шурочка, вы только скажите! Одно ваше слово – и я мир переверну! Я всё для вас сделаю!
 - Нет, у меня всё хорошо. Просто у меня... голова болит и я хочу побыть одна...
 - Александра Сергеевна, ведь я вижу, что что-то случилось. Расскажите! Я пойму вас! Ведь я вас люблю!
 - Замолчите! Замолчите! Замолчите! – неожиданно для себя вскрикнула Саша. – Не смейте никогда мне этого говорить! Оставьте меня! Совсем оставьте!
 - Александра Сергеевна, что с вами? – тревожно просил Митя.
- Саша закрыла лицо руками и заплакала:
- Да уйдите же вы, наконец!

Взбежав по лестнице, она метнулась в свою комнату и заперла дверь. На лбу её выступил пот, было отчего-то нестерпимо жарко. Саша выпила стакан воды, протёрла смоченным платком лицо и шею, опустилась в кресло. На какой-то момент она впала в забытё, во время которого ей вновь виделись кошмары. Во рту было сухо, а тело бросало то в жар, то в холод. Очнувшись, Саша сунула руку в сумочку, и рука её нащупала что-то холодное. Это оказалась статуэтка старика.

– Значит, ты приносишь счастье? – Саша расхохоталась и в ярости швырнула фигурку об стену, отчего китайский мудрец рассыпался на мелкие осколки.

– А теперь я также уничтожу твоего хозяина, – прошептала Саша. Она тяжело поднялась и вышла из комнаты. Навстречу ей бросила испуганная бабушка:

– Шурочка, ангел мой, что с тобой? Господи, да на тебе лица нет! У тебя жар! Ты вся горишь! Я сейчас позову доктора! Матвей! Матвей! Живо беги за доктором!

Саша скользнула мимо отвлёкшейся на Матвея бабушки и выбежала на улицу.

– Шура, стой! Догоните её кто-нибудь! Горе-то какое!

На улице шёл дождь. Саша радостно подставила ему своё горящее лицо и побежала по лужам к дому генерала. Иван Петрович только что вернулся. Промокшая до нитки, с разломаченными полосами, с горящими глазами, Саша вошла за ним в дом. Увидев её, генерал поднёс руку к сердцу:

– Дитя моё, что с тобой? Боже мой, да ты совсем больна! Ты не в себе! Я сейчас же прикажу отвезти тебя домой... Нет, лучше я сам отвезу тебя, моя девочка.

О, сколько неподдельной тревоги и нежности было в этом отеческом голосе. Слезы показались по щекам Саши, смешиваясь с дождевой водой. Трясаясь от рыданий и озноба, она прошипела:

– Ненавижу, ненавижу... Не смогла! Опять не смогла! Будьте вы все прокляты!

И, оставив генерала в полном замешательстве, Саша вновь помчалась по улице, сквозь пелену расходящегося дождя, озаряемая светом молнии. Глупо, как глупо! Теперь все будут смеяться и показывать пальцем! Не смогла! Ясное дело, барышня! Куда ей до настоящей борьбы, настоящего дела! Позор! Нет, этого не будет! Этого не должно быть!

Дома Сашу ждали перепуганная бабушка и сестра, прижимавшая к груди щенка, тоже казавшегося напуганным, а с ними приведённый Матвеем доктор. Все они кинулись к ней, но Саша рукой велела им остановиться:

– Не приближайтесь ко мне! – хрипло закричала она. – Вы все! Вы ничего не знаете, вам ничего не понять! Живите, как живёте, а меня не трогайте! Оставьте меня!

– Сашенька! – со слезами вскрикнула бабушка.

– Сестра, опомнись! Ты нездорова! – всхлипнула Варя, подаваясь вперёд.

– Прочь! Все прочь от меня! – Саша взвилась по лестнице и, захлопнув дверь спальни, заперла её на ключ. В неё тотчас начали стучать с мольбами открыть и позволить помочь.

Саша, шатаясь, подошла к столу и опустилась на стул. Всё кончено. Она оказалась негодной к борьбе. Значит, незачем жить. Довольно, хватит... Хорошо, что не отдала пистолет... А куда стрелять? В голову? Нет, лучше в сердце... В самое сердце... Бах – и никаких мук больше... Надо только записку написать... Ему написать...

«Уважаемый Иван Петрович!

Вы тиран, деспот и палач лучших и благороднейших людей. За это вы приговорены к смерти. Три раза и приходила к вам, чтобы привести приговор в исполнение, но не смогла, потому что чувства взяли во мне верх над идеей, и в этом мой позор. Я не смогла убить вас, а потому во искупление того убиваю себя!

Александра Шатаева».

А если бы был жив отец? И его бы – приговорили?.. Но это не важно теперь. Запечатать и надписать. В собственные руки... Вот, теперь всё...

– Шура, умоляю, открой!

– Сестричка, что ты там делаешь?! Скажи что-нибудь...

Нечего говорить... Живите, будьте умнее и счастливее... И не огорчайтесь слишком... Руки дрожат... Как бы не дать промаха... Обеими руками, под грудь, в самое сердце... Ну, с Богом!

Последний патрон

Сквозь дыру в тёмном лоскуте ткани, занавешивающей крохотное окно, из которого были видны лишь ноги прохожих, прорвался белый луч солнца и упал на лежащую на столе французскую газету с траурным портретом генерала П.Н. Врангеля на первой полосе.

Капитан неловко чиркнул спичкой о коробок, и тот упал на пол. Чертыхаясь, он подобрал его и всё-таки закурил.

Постепенно блюдце, используемое в качестве пепельницы, заполнилось окурками. Луч продолжал скользить по комнате. Капитан перечёл исписанную крупным, неровным почерком бумагу, взял единственной левой рукой химический карандаш и поставил дату и подпись.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.